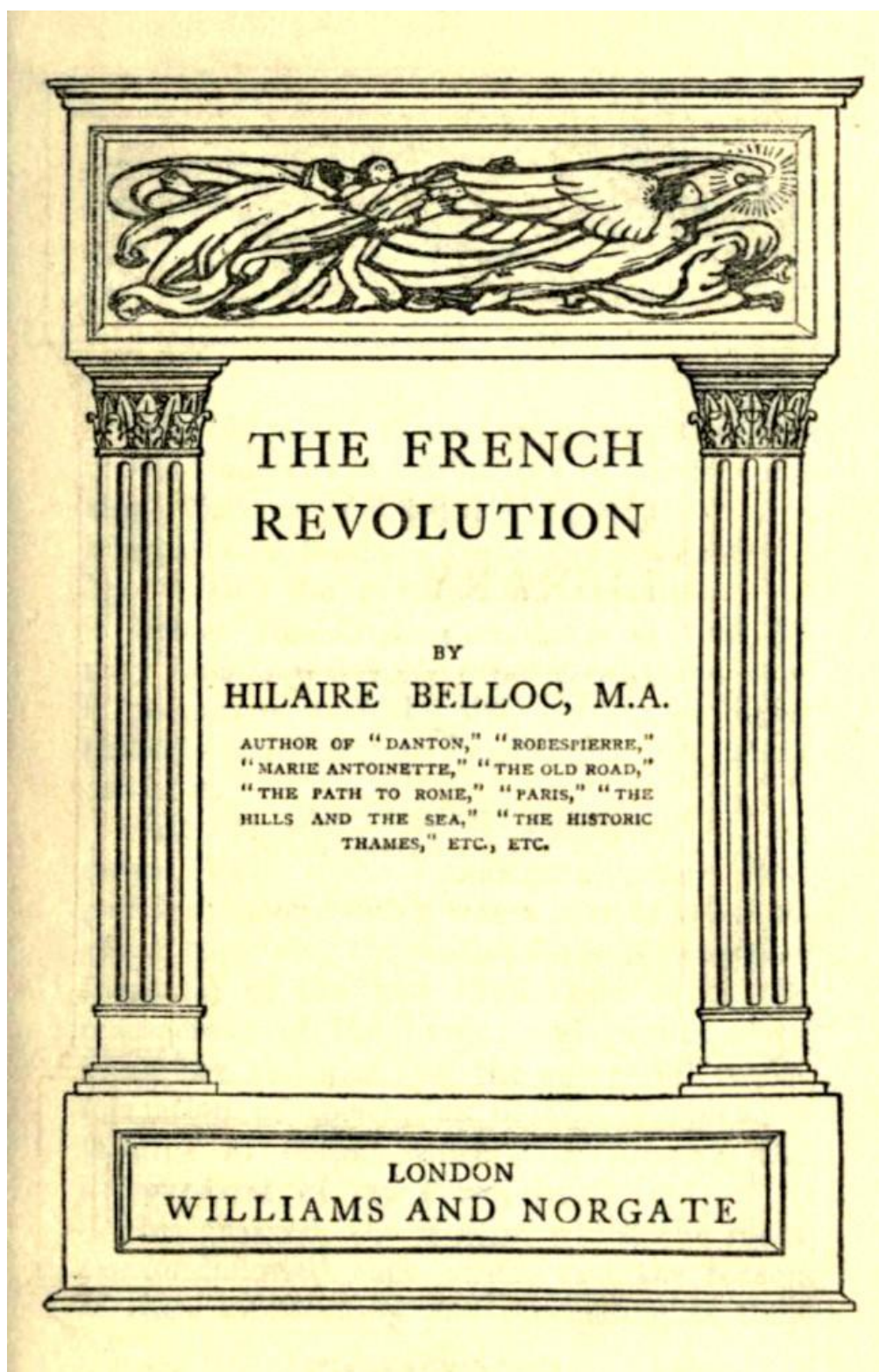


Французская революция

Хилер Беллок



The Project Gutenberg eBook of The French Revolution.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Французская революция

Автор: Hilaire Belloc

Дата выхода: 8 февраля 2011 [eBook #35215]

Последнее обновление: 25 марта 2022 г.

Язык: Английский

Авторские права: Стивен Гиббс, Ричард Дж. Шиффер и команда Online Distributed Proofreading Team на <http://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE FRENCH REVOLUTION ***

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

BY HILAIRE BELLOC, M.A.

АВТОР РОМАНОВ "ДАНТОН", "РОБЕСПЬЕР", "МАРИЯ-АНТУАНЕТТА", "СТАРАЯ ДОРОГА", "ПУТЬ В РИМ", "ПАРИЖ", "ХОЛМЫ И МОРЕ", "ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМЗА" И ДР.

ЛОНДОН
УИЛЬЯМС И НОРГЕЙТ

Ричард Клей и сыновья, Лимитед,
БРУНСВИК-СТРИТ, СТЭМФОРД-СТРИТ, С.Э,
И БАНГЕЙ, СУФФОЛК.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель этих нескольких страниц не в том, чтобы еще раз изложить историю Революции: об этом можно прочитать в любом из сотни учебников. Их цель, скорее, состоит в том, чтобы, если это возможно, объяснить ее английскому читателю, чтобы он мог понять, что это было и как это происходило, а также почему из этого возникли некоторые проблемы, до сих пор незнакомые англичанам.

Прежде всего, необходимо четко, без современных вкраплений изложить ту политическую теорию, которая была своего рода религиозным вероучением, обеспечивающим движущую силу всего дела; нового Гражданского кодекса и резни; паники и капитуляций и побед; успешного преобразования общества и заметных провалов в деталях, которые все еще угрожают достижению Революции.

Постигнув это, необходимо изложить не в форме хроники, а в форме тезисов то, как основные события следовали друг за другом, и причину их взаимосвязи и протекания. Таким образом, читатель должен знать не только то, что за неудачным бегством царской семьи последовала война, но и то, как и почему она последовала. Он должен оценить не только суровость правительства Великого комитета, но и причины этой суровости, а также условия войны, на которые она опиралась. Но при таком объяснении развития движения необходимо выбрать для оценки в качестве главных фигур персонажей того времени, поскольку от их воли и манеры поведения зависела судьба целого. Например, если бы королева была француженкой по крови или по симпатиям, если бы король был настороже, если бы хоть один персонаж сохранил старые религиозные мотивы, вся история изменилась бы, и эту человеческую компанию необходимо увидеть, чтобы понять ее действие и драму.

Читатель, заинтересованный в этом важнейшем событии, должен далее ухватить (и слишком редко имеет возможность ухватить) его военный аспект; и эта его трудность проистекает из двух причин: первая - историки, даже когда они признают важность военной стороны какого-то прошлого движения, небрежно относятся к военному аспекту и считают достаточным рассказать о конкретных победах и общих действиях. Военный аспект любого периода заключается не в них, а в кампаниях, в которых действия, пусть даже решающие, являются лишь случайными частями. Другими словами, чтобы понять военный период, читатель должен уловить движение и замысел армий, а этого ему обычно не дано. Во-вторых, историк, как бы он ни осознавал важность военных дел, слишком редко представляет их как часть общего положения. Он делает свою историю то историей войны, то историей гражданского развития, и читатель не видит, как эти два аспекта сочетаются.

Революция, как никакой другой современный период, опирается на военную историю и объясняется ею. Именно поэтому объяснению этой особенности посвящено так много места.

Читатель также обратит внимание на то, что здесь подробно рассматриваются разногласия между революцией и католической церковью.

Подчеркивание этого аспекта революционной борьбы может показаться необычным и, возможно, заслуживает извинений.

Читателю предлагается принять во внимание тот факт, что Революция произошла в стране, которая, во-первых, во время религиозной борьбы XVI и XVII веков однозначно решила оставаться в общении с Римом, а во-вторых, приняла очень большое и важное количество новообращенных в доктрины Реформации.

Решимость французского народа в период кризиса 1572-1610 годов остаться католиком при сильном центральном правительстве стала важным моментом в будущей истории Франции. Как и присутствие богатого, очень многочисленного и высококультурного сообщества раскольников в среде нации. Эти два явления вряд ли сосуществовали где-либо еще в Европе. Вместе они придали политической истории Франции особый характер, который девятнадцатый век подчеркнул даже больше, чем сама Революция; и, по мнению настоящего автора, невозможно понять Революцию, если не уделить особого внимания религиозной проблеме.

Если можно отметить личный момент, то от читателя не должен быть скрыт тот факт, что автор этих страниц сам является католиком и в политических симпатиях сильно привязан к политической теории Революции. Такие личные обстоятельства, возможно, позволили ему подойти к вопросу более основательно, чем это мог бы тот, кто отвергает либо республиканизм, с одной стороны, либо католицизм, с другой; но он считает, что ни одна личная и, следовательно, преувеличенная нота не была допущена в его описание того, что является определенным куском объективной истории, лежащей в области записей, а не мнений.

Несколько лет назад люди, не имевшие личного опыта борьбы и ее огромных результатов, могли еще сомневаться в первостепенной важности ссоры между Церковью и революцией. Сегодня же растущие последствия и современная жестокость этой ссоры делают ее изложение неотъемлемой частью любого исследования этого периода.

Схема, изложенная таким образом, покажет, почему я дал этому очерку то разделение, в котором он находится.

H. Belloc.

*Королевская земля,
Январь 1911 г.*

СОДЕРЖАНИЕ

	страница
Предисловие	v
I Политическая теория революции	13
II Руссо	29
III Персонажи революции:	
Король Людовик XVI	37
Королева	45
Мирабо	53
Ла Файетт	61
Дюмурье	65
Дантон	67
Карно	72
Марат	74
Робеспьер	77
IV Фазы революции:	
i. С мая 1789 года по 17 июля 1789 года	83
ii. С 17 июля 1789 года по 6 октября 1789 года	98

iii. С октября 1789 года по июнь 1791 года	102
iv. С июня 1791 года по сентябрь 1792 года	108
v. От вторжения в сентябре 1792 года до создания Комитета общественной безопасности, апрель 1793 года	118
vi. С апреля 1793 года по июль 1794 года	126
V Военный аспект революции	142
Один	145
Два	156
Три	163
Четыре	179
Пять	204
VI Революция и католическая церковь	214
Указатель	255

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

I

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Политическая теория, на которой основывалась Революция, особенно в нашей стране, подвергалась насмешкам как локальная, эфемерная и ошибочная. Она универсальна, вечна и истинна.

Вкратце ее можно сформулировать так: политическое сообщество, претендующее на суверенитет, то есть претендующее на моральное право защищать свое существование от всех других сообществ, получает гражданскую и временную власть своих законов не от своих фактических правителей, и даже не от своей магистратуры, а от самого себя.

Но сообщество не может выражать власть, если оно не обладает *корпоративной инициативой*; то есть если масса составляющих его единиц не способна объединиться для общего выражения, осознать общую волю и иметь нечто общее, что делает целое действительно суверенным.

Может оказаться, что эта власть корпоративной инициативы и соответствующего корпоративного выражения запрещена людям. В таком случае нельзя говорить о существовании суверенного сообщества. В таком случае "патриотизм", "общественное мнение", "гений народа" - термины, лишенные смысла. Но человечество во все времена и во всех местах соглашалось с тем, что такие термины имеют смысл, и представление о том, что сообщество может так жить, упорядочивать и быть самим собой, является человеческим представлением, столь же созвучным природе человека, как и его чувство добра и зла; оно

является гораздо более близкой частью этой природы, чем обычные случайности, определяющие человеческую жизнь, такие как питание, поколение или отдых: нет, более близкой частью ее, чем все, что прикрепляется к телу.

Эта теория политической морали, хотя и подверженная безграничной деградации на практике, лежит в основе аргументов каждого, кто претендует на то, чтобы рассматривать поведение государства как дело, затрагивающее совесть граждан. На нее опирается каждый протест против тирании и каждое обличение иностранной агрессии.

Тот, кто более всего увлечен каким-то установленным механизмом управления людьми, кто считает сакраментальной функцию наследственного монарха (как в России), органическим характером отечественной олигархии (как в Англии), механическим устройством выборов по большинству голосов, или даже в кризисной ситуации - глубокое убеждение и, следовательно, интенсивная активность и убедительная сила больших толп, полезная для государства, - он неизменно, если какой-либо из этих двигателей не поможет ему достичь желаемого для своей страны, вернется к доктрине окончательно суверенного сообщества. Он будет жаловаться на то, что хотя выборы и победили его идеал, но истинные национальные традиции и истинные национальные чувства были на его стороне. Если он защищает действия отечественной олигархии против лидеров народных масс, то делает это с помощью объяснения (более или менее явного), что олигархия более истинно национальна, то есть более истинно общинная, чем сконструированное выражение мнения, глашатаями которого были демагоги (как он их называет). Даже обвиняя людей в критике или сдерживании наследственного монарха, приверженец этого монарха будет обвинять их на том основании, что их действия антинациональны, то есть антиобщинные; и, одним словом, ни один человек, претендующий на здравомыслие, не может оспаривать в мирских и гражданских вопросах высший авторитет того, что считается (хотя с каким трудом это не определяется!) общим гражданским чувством, которое создает государство.

Эти слова "гражданский" и "временный" должны подвести читателя к следующему соображению, которое заключается в том, что последняя власть над всеми не принадлежит даже общине.

Все, кто задумывался о своей природе и природе своих ближних, должны признать, что высшим авторитетом в любом деле является Бог. Или, если имя Бога звучит сегодня необычно в английских изданиях, то то, что сейчас заменяет его для многих (несовершенное выражение), "моральное чувство".

Так, если в каком-нибудь заброшенном месте соберется сообщество из нескольких семей, настолько развращенных или настолько нуждающихся, что, вопреки учениям собственной совести и прекрасно понимая, что то, что они делают, мы называем *неправильным*, они все же единодушно согласятся это сделать, то это их соглашение, хотя против него, конечно, не может быть выдвинуто никаких мирских или гражданских авторитетов, все же неоправданно. За этим стоит другой авторитет. Еще более очевидно, что это было бы верно, если бы, скажем, из двенадцати человек семеро решили (зная, что вещь *неправильная*), что нужно сделать *неправильную* вещь, а пятеро выступили бы за *правильную* - и все же большинство, которым обладают семеро, должно быть определено как достаточный авторитет для неправомерного повеления.

Но следует заметить, что эта аксиома применима только в тех случаях, когда авторитет нравственного закона (Бога, как предпочитает говорить автор этой книги, отдавая должное своим читателям) признается, но при этом попирается. Если эти двенадцать семей искренне считают *правильным* такое-то и такое-то общее действие, то их власть, когда они

осуществляют его на практике, является не только гражданской и временной властью; это власть абсолютная во всех отношениях; и далее, если при разделении мнений между ними не просто большинство, нет, возможно, не большинство, но, во всяком случае, определяющее течение мнений - определяющее по интенсивности и весу, то есть так же, как и по количеству, - объявляет действие правильным, то этот определяющий вес мнений придает его решению политическую власть, не только гражданскую и временную, но и абсолютную. За ним и над ним нет апелляции.

Другими словами, люди могут справедливо осудить, и справедливо осудили при тысяче обстоятельств, теорию, согласно которой простое решение большей части общества обязательно является правильным с точки зрения морали. Само собой разумеется, что если одно сообщество принимает одно решение, а другое, также суверенное, - противоположное, то оба решения не могут быть правильными. Разумные люди также протестовали, и справедливо, против концепции, что то, что большинство по численности или даже (что еще более убедительно) единогласное решение сообщества может приказывать, может быть не только неправильным, но и тем, что это сообщество не имеет права приказывать, поскольку, хотя оно обладает гражданской и временной властью, оно действует против того высшего авторитета, который является его собственным сознанием права. Люди могут и справедливо протестуют против доктрины, согласно которой сообщество не способно совершить преднамеренное зло; оно так же способно на такое действие, как и отдельный человек. Но люди нигде не отрицают и не могут отрицать, что сообщество, действующее так, как оно считает нужным, в конечном счете суверенно: альтернативы столь очевидной истине не существует.

Итак, давайте примем как неоспоримый факт, что там, где речь идет о гражданском правительстве, сообщество является верховным, хотя бы на том основании, что ни один орган внутри сообщества не сможет доказать свое право противостоять корпоративной воле, когда эта корпоративная воля найдет свое выражение.

Все аргументы, выдвигаемые против этой главной аксиомы политической этики, при их анализе оказываются путаницей в мыслях. Так, человек скажет: "Эта доктрина приведет к тому, что моя страна откажется от своего сюзеренитета над той другой нацией, но если бы я согласился на это, я бы ослабил свою страну, которой я обязан верностью". Доктрина не вынуждает его к подобным шалостям. Общество, членом которого он является, вольно распоряжаться своей безопасностью и обязано сохранять свою жизнь. Угнетенные должны протестовать и восставать.

Подобным образом люди думают, что эта доктрина каким-то образом согласуется с фактической вялостью и фактической неспособностью людей к корпоративным действиям. Ничего подобного. Эта вялость, эта имбецильность и все остальное, что ограничивает применение доктрины, ни в коей мере не затрагивает ее правильного основания, так же как тот факт, что речь всех людей несовершенна, противоречит принципу, что человек имеет моральное право на самовыражение. То, что немой человек вообще не может говорить, но вынужден писать, отнюдь не противоречит, а подтверждает истину, что речь - главное выражение человека; точно так же и сообщество, полностью лишенное возможности выражать свою корпоративную волю, не противоречит, а подтверждает общее правило, что такое выражение и принятие таких решений нормально для человечества. Сама странность контраста между ненормальным и нормальным помогает нам в принятии решения, и когда мы видим народ, покоренный и не поддающийся убеждению, но не предпринимающий попыток восстания, или народ, свободный от иностранного гнета, но озадаченный перспективой самоуправления, странность этого явления подтверждает наше правило.

Но хотя все это верно, против утверждения нашей политической аксиомы стоит не противоречие, а критика; и все люди, знающие своих собратьев и самих себя, сразу же понимают, *во-первых*, что психология корпоративного действия существенно отличается от психологии индивидуального действия, а *во-вторых*, что в зависимости от количества, обсуждений, отсутствия близости и вообще трения многих, корпоративное действие сообщества, корпоративная самореализация и навязывание корпоративной воли варьируется от трудного до невозможного.

На это не нужно тратить слов. Все люди, которые рассуждают и наблюдают, согласны с тем, что пропорционально расстоянию, численности и сложности, сложность самовыражения в сообществе возрастает. Мы можем получить в живом народе взрывы народной воли, бурные, острые и, безусловно, реальные; но это редкость. С народом более вялым мы можем попытаться получить некоторое отражение народной воли через постоянный механизм депутации, который, возможно, меньше, чем какой-либо другой, позволяет большому сообществу выразить себя по-настоящему. Мы можем полагаться на национальные симпатии аристократии или короля. Но в любом случае мы знаем, что большие сообщества могут выражать себя лишь косвенно и несовершенно, когда речь идет о постоянном управлении их интересами. Нашу привязанность, которая может быть страстной, к правам общей воли мы должны удовлетворить либо требованием свободной федерации маленьких, самостоятельно управляемых государств, либо подчинением центрального правительства больших государств периодическим восстаниям и бурным корпоративным выражениям мнений, которые должны изменить отношения между правителем и управляемыми.

Все это так: но такая критика теории политической морали, которая лежала в основе Революции, теории суверенитета сообщества, не является противоречием. Она лишь говорит нам о том, что чистое право не может беспрепятственно действовать в человеческих делах и что оно действует в одних условиях более трудоемко, чем в других: она не дает ни малейшего авторитета какому-либо альтернативному тезису.^[1]

Такова общая теория Революции, которой Жан Жак Руссо, владея французским языком, придал нетленное выражение в книге, стиль и логическую связь которой можно сравнить с каким-нибудь точным и прочным инженерным произведением. Он назвал ее "*Социальный договор*", и она стала формулой революционного кредо. Но хотя ни один человек, возможно, не выразил так хорошо главную истину политической морали, эта истина стара как мир; она появляется в страстной риторике сотни вождей и стоит во главе или вплетена в законы свободных государств без числа. На английском языке Декларация независимости является, пожалуй, самым благородным ее выражением. И хотя этот документ предшествовал великому труду Руссо и (благодаря гению Джефферсона) в какой-то мере восходил к нему, его язык, а еще больше действия тех, кто его составил и поддержал, достаточны, чтобы объяснить английским читателям, что я имею в виду.

С этой общей теорией связаны, с одной стороны, некоторые великие принципы, без которых она не имела бы смысла, а с другой - ряд второстепенных моментов, касающихся не более чем механизма политики. Первые жизненно важны для демократии. Вторые, несмотря на их большую популярность во время революции и санкцию, которую дала им революция, а также на их универсальность после революции, в действительности не имеют ничего общего с самой революционной теорией.

Из этих двух категорий тип первой - доктрина равенства людей; тип второй - простой механизм, называемый "представительством".

Доктрина равенства человека - это трансцендентная доктрина: "догма", как мы называем такие доктрины в области трансцендентальной религии. Она не соответствует никакой физической реальности, которую мы можем постичь, ее едва ли можно понять даже с помощью метафор, взятых из физических объектов. Мы можем попытаться рационализировать его, сказав, что то, что является общим для всех людей, не важнее, а *бесконечно* важнее тех случайностей, по которым люди различаются. Мы можем сравнить человеческие атрибуты с трехмерными, а личные - с двумерными измерениями; мы можем сказать, что все, что человек имеет от своей природы, является эталоном человека, и показать, что во всех этих вещах люди потенциально равны. Ни одна из этих метафор не объясняет сути дела; тем более ни одна из них не удовлетворяет требованиям тех, кому догма может быть непонятна.

К ее истине (для них) нужно прийти отрицательным путем. Если люди *не* равны, то ни одна схема юриспруденции, ни один акт справедливости, ни одно движение человеческого негодования, ни одно возвышение товарищества не имеют никакого смысла. Доктрина равенства людей - это доктрина, которая, как и многие другие великие трансцендентальные доктрины, может быть доказана результатами, вытекающими из ее отсутствия. Человек должен верить в это - и все живые общества верят в это.

Конечно, не в человеке доказывать равенство людей, кроме как, как я уже сказал, путем отрицания; но не нужно обладать значительными интеллектуальными способностями, чтобы понять, что без доктрины равенства исчезает концепция политической свободы и морального права общества на самоуправление. Позитивно верить в эту доктрину, горячо верить в нее, отправиться в крестовый поход за этой религиозной точкой, было действительно характерно для французов. Для этого требовался особый и унаследованный религиозный темперамент французов, которые на протяжении стольких сотен лет схватывали и определяли пункт за пунктом в характере человека, чтобы влюбиться в это определение и почувствовать его не умом, а как бы костями. Они стали солдатами за это, и тот их огромный поход по Европе, который можно не без основания сравнить с их приключениями в двенадцатом веке, когда они участвовали в крестовых походах, не был вдохновлен ни одной частью доктрины политической свободы сильнее, чем этой доктриной равенства.

Презрение, которое в те времена повсеместно испытывали к гордыне, связывающей себя с вещами, не присущими человеку (особенно и наиболее абсурдно - с капризными различиями в богатстве), никогда не было столь сильным; и страстное чувство справедливости, проистекающее из этой глубокой и фундаментальной социальной догмы равенства, как оно довело Францию во время революции до бешенства, так же подвигло ее к созиданию.

Те, кто спрашивает, как получилось, что группа людей, выдержавшая всю тяжесть гражданского конфликта внутри и всеобщей войны снаружи, за двадцать лет нашла достаточно времени, чтобы разработать кодексы, которые управляют современной Европой, заложить основы всеобщего образования, строго безличной схемы управления, и даже в деталях переделать материальное лицо общества - одним словом, сделать современную Европу, - должны довольствоваться ответом, что республиканская энергия имела своим пламенем и возбудителем это видение: почти физическое ощущение равенства людей.

Второстепенные моменты, которые вплелись в политическую практику демократии во время Революции, которые не относятся к ее принципам и которые, если бы они были

абстрагированы, не повлияли бы на ее сущность, относятся к совершенно другому и менее благородному типу. Главным из них я считаю механизм депутации или "представительства".

Система представительства была разработана для определенной цели под влиянием церкви и особенно монашеских орденов (которые ее изобрели) в Средние века. Во Франции она служила полезным сдерживающим фактором для национальной монархии, а во времена кризиса или когда особенно требовалась национальная инициатива, она служила формой национального самовыражения.

В Испании по мере развития Средневековья он стал очень важным национальным и местным явлением, варьирующимся от места к месту. Неудивительно, что Испания (учитывая, что именно на ее территории были сделаны первые опыты представительства) сохранила его популярным и живым.

В Англии представительство, энергичное, как и везде в истинное средневековье, сузилось и пришло в упадок после его окончания, пока в семнадцатом веке не превратилось в простую схему аристократического правления.

Во Франции за почти двести лет до революции она пришла в упадок, но память о ней все еще сохранялась; особенно память о ее ценности в критические моменты, когда требовался совет всего народа и когда корпоративная инициатива всего народа должна была быть приведена в действие, чтобы спасти государство.

Поэтому неудивительно, что накануне революции французы ратовали за возрождение представительства, или, как называли эту систему на французском языке, "Генеральных штатов". Но в качестве постоянного аппарата управления никто в Европе не имел ни малейшего представления о том, как эта система может служить целям демократии. В Англии демократия не практиковалась, и представительство не было связано с ее концепцией. Нация забыла демократию так же полностью, как забыла религию и старые идеалы Средневековья.

В тех частях христианства, где этот древний христианский институт парламента не сузился до маски олигархии или не превратился в простой провинциальный обычай, его использование исчезло. Древняя функция представительства, когда оно было наиболее живым и энергичным, то есть в Средние века, заключалась в том, чтобы иногда инициировать национальную политику в критические моменты, но чаще всего в том, чтобы назначать налоги. Что может сделать демократический парламент, никто в 1789 году не мог себе представить.

Правда, существовал один великий пример демократического представительства: пример Соединенных Штатов; но условия были совершенно иными, чем в Европе. Там еще не существовало настоящей центральной власти; не было ни древнего центрального учреждения, ни короны, ни городского обычая. Численность населения, над которым тогда властвовала американская представительная демократия, не шла ни в какое сравнение с двадцатью пятью миллионами, населявшими французское королевство. И даже при этом большая часть того, что имело значение в их жизни, регулировалась системой сугубо местной автономии: ведь они были столь же разрозненны, сколь и малочисленны, а самые мудрые, сильные и лучшие зависели от рабов. В Европе, повторяю, эксперимент не был опробован; и одна из главных ошибок французских революционеров состоит в том, что, будучи вынужденными в критический момент открытия революции использовать выборы и представительство, они предполагали постоянное использование аналогичного механизма как нечто священное и нормальное для демократического государства.

Правда, они не могли предвидеть современного парламентаризма. Ничто не могло быть более чуждым их представлению о государстве, чем тот плачевный метод правления, который парламентаризм повсеместно стремится внедрить в наши дни.

Правда, французский народ во время революционных войн с трудом справился с парламентской теорией и счел более национальным делом следовать за солдатом (к тому времени все они сами были солдатами) и воплощать в диктаторе волю нации.

Но хотя французские революционеры не могли предвидеть того, что мы сегодня называем "парламентаризмом", и хотя общество, из которого они вышли, с трудом справлялось с олигархическими притязаниями парламента, когда приходилось учитывать реалии национальной борьбы, они, тем не менее, почти до абсурда почитали механизм представительства и выборов.

Они дошли до того, что ввели его в свою попытку реформировать церковь; они ввели его повсюду в гражданское правительство, от самых мелких единиц до самых высоких. Они даже на мгновение поиграли с иллюзией в самую реальную из игр, в которые только могут играть люди, - в дело оружия: они разрешили избирать офицеров. К этому их подтолкнуло то распространенное заблуждение, более простительное у них, чем у нас, которое смешивает индивидуальную волю с корпоративной. Представитель (думали они) может каким-то образом быть постоянным вместилищем своего электората. Они воображали, что корпоративная инициатива всегда достаточно активна, в каких бы подразделениях ни находилась, чтобы сразу же реагировать на делегата, направлять его, как можно направлять загнанное животное, или командовать им, как можно командовать слугой.

Напрасно Руссо, великий выразитель демократической теории, на которую пыталась опираться Франция, предостерегал потомков от возможных результатов представительной системы: они впали в ошибку, и она владеет многими их потомками по сей день.

Пытливый ум Руссо воспринял не более чем общую истину, что люди, соглашающиеся на представительную систему, свободны только в то время, когда представители не заседают. Но (как это часто бывает с гениальными интуициями), хотя он и не видел всего зла, он нащупал его центральную точку, и из этого главного и справедливого принципа, который он заложил, - что при чисто представительной системе люди не могут быть действительно свободными - вытекают все те беды, которые, как мы теперь знаем, связаны с этим методом правления. То, что в довольно неуклюжей эпиграмме названо "дерзостью избранных лиц", является частью этой истины. Очевидное зрелище современных парламентских наций, загнанных против своей воли в экономические условия, которые их ужасают, опять-таки вытекает из той же истины; из нее же вытекает то явное и искреннее презрение, в которое повсеместно впали парламентские институты, и из нее же вытекает та производная чумы, что сами представители теперь повсюду стали более подневольными, чем избиратели, и что во всех парламентских странах несколько интриганов являются недостойными хранителями власти и своей финансовой службой позволяют торговцам деньгами управлять всеми нами в настоящее время. Руссо, я говорю, главный пророк Революции, предупреждал французов об этой опасности. Это яркий пример его таланта, ведь в его время эксперимент с демократическим представительством еще не был опробован. Но гораздо важнее та его сила, благодаря которой он не только отчеканил и выпустил золото демократии в том виде, в каком оно никогда до этого не чеканилось. Ни один человек не создает народ или его вероучение, но Руссо, как никто другой, сделал вокал вероучением народа, и читателю "Революции" желательно или необходимо в самом начале чтения задуматься о том, какого

рода было обильное влияние Руссо на людей, переделывавших европейское общество в период с 1789 по 1794 год.

Почему он доминировал в эти пять лет, и как получилось, что он доминировал в них все больше и больше?

Объяснение силы Руссо заслуживает отдельного отступления, поскольку немногие, кто выражается на английском языке, заботились о том, чтобы понять его, а в академиях провинциалы обходились с этим великим писателем так, как будто он в чем-то уступал им самим.

ССЫЛКИ:

[1] Нам не нужно тратить время на тех, кто говорит о том, что такая-то и такая-то форма правления хороша, потому что "она работает". Использование такого языка означает, что тот, кто его употребляет, устал от усилий мысли. Ведь что такое "работа", *то есть* успешное действие, в любой сфере? Достижение определенных целей в этой сфере. Каковы эти цели в государстве? Если материальное благосостояние, то тогда хватит говорить о патриотизме, нации, общественном мнении и прочем, что, как мы все прекрасно знаем, люди всегда считали и всегда будут считать высшими вопросами общественного интереса. Если целью является не материальное благополучие, а чувство политической свободы и способность гражданина реагировать на государство, то сказать, что институт "работает", хотя, очевидно, не является демократическим, значит просто сказать, что при таких-то и таких-то условиях этот институт наиболее точно достигает целей демократии. Другими словами, противопоставлять хорошую "работу" института, внешне недемократического, демократической теории бессмысленно. Институт "работает" в той мере, в какой он удовлетворяет тому политическому смыслу, который совершенная демократия, если бы она была достижима, полностью удовлетворила бы.

II

РУССЕЯ

Чтобы понять, что Руссо значил для революционного движения, необходимо рассмотреть влияние стиля на людей.

На людей влияет слово. Произнесенное или написанное, *слово* является органом убеждения и, следовательно, морального управления.

Сейчас, когда это понятие деградировало в наше время, нет другого подходящего термина для выражения точного использования слов, кроме термина "стиль".

То, какие слова мы используем и в каком порядке их располагаем, - вот и весь вопрос стиля; и поэтому в распоряжении человека, желающего влиять на своих собратьев, не один, а два взаимосвязанных инструмента. Он не может использовать один из них без другого. Слабость одного из них погубит другой. Эти два инструмента - его идея и его стиль.

Какой бы сильной, родной, отвечающей настроению слушателей или убедительно доказанной с помощью ссылок на новые вещи ни была идея человека, он не сможет убедить в ней своих собратьев, если у него не будет слов, которые ее выражают. И он будет убеждать

их все больше и больше в той мере, в какой его слова хорошо подобраны и расположены в правильном порядке, а этот порядок определяется гением языка, из которого они взяты.

Истинна или ложна идея, выразителем которой Руссо сделал себя в своем знаменитом трактате, не должна больше волновать нас в этой небольшой книге. Все мы знаем, что трудная попытка реализовать политическую свободу в разное время привлекала разные сообщества людей и отталкивала другие. Английский читатель редко слышит о том, что триумф Руссо зависел не только от первого элемента убеждения, которым является видение, но и от второго из двух взаимосвязанных инструментов, с помощью которых человек может влиять на своих собратьев, а именно от стиля. Именно его выбор французских слов и порядок, в котором он их расставлял, обеспечили ему огромное превосходство над поколением, которое было молодым, когда он был старым.

Я уже упоминал о его знаменитом трактате *"Социальный договор"*, и здесь можно сделать еще одно замечание по этому поводу. Эта книга, давшая текст для Революции, документ, на который могла ссылаться ее политическая теория, отнюдь не была (как иногда представляют себе иностранные наблюдатели) всей совокупностью произведений, за которые отвечал Руссо. Представить это - значит совершить весьма распространенную ошибку, спутав человека с его книгами.

Руссо писал о многом: его характер был экзальтированным, нервным и болезненным. Его чрезмерная чувствительность с годами выродилась в нечто, не отличимое от мании. Он писал о воспитании, и слава его стиля несла убеждение как там, где он был прав, так и там, где короткий опыт ста лет доказал, что он был полностью неправ. Он писал о любви, и половина уроков, которые можно извлечь из его произведений, будет осуждена здравомыслящими людьми. Он много писал о ботанике; он также писал о музыке - с каким успехом в обоих отделах, я не в состоянии определить. Он писал о человеческом неравенстве: и хотя предложения были прекрасны, а чувства справедливы, анализ был очень недостаточен, а историческая концепция плоха. Он написал проект вечного мира, который оказался ерундой; а о правительстве Польши он написал эссе, которое было совершенным шедевром.

Но когда великий писатель пишет, каждое из его великих произведений живет своей собственной жизнью, и именно , а не какие-либо другие сочинения Руссо, о любви или ботанике, стали текстом Революции. Текстом революции стал его *Социальный договор*.

Не будет лишним сказать, что никогда в истории политической теории политическая теория не была изложена так ясно, так убедительно, так кратко и так точно, как в этой короткой и замечательной книге. Современному издателю в этой стране было бы стыдно печатать ее: не за ее взгляды (которые сейчас кажутся обыденностью), не за ее превосходство, которое обеспечило бы ей провал, а за ее краткость. Она коротка, как Евангелие, и заняла бы не более ста страниц одной из наших серьезных рецензий. Современный издатель в этом городе не знал бы, какую цену назначить за такую работу, а современный читатель в этой стране был бы озадачен, пытаясь понять, как можно вместить великую вещь в столь узкий компас. Дебаты в парламенте или либретто длинной пантомимы имеют больший объем.

Тем не менее, если внимательно прочитать *Contrat Social*, то можно обнаружить, что в нем сказано все, что можно сказать о моральной основе демократии. Наше незнание исторической основы государства предполагается уже в первых строках этого документа. Следующим утверждением является логический приоритет семьи перед государством. Нелепый и позорный аргумент о том, что сила является основой власти, который никогда не имел авторитета только среди непросвещенных или поверхностных людей, презрительно

отвергается в очень простом доказательстве, которое составляет третью главу, и эта глава не занимает ни страницы в книге. Именно с пятой главы начинается мощная аргументация, и логическое предшествование *человеческой ассоциации* любой конкретной форме правления является основополагающим камнем этого анализа. Именно это и дает название книге: моральный авторитет людей в сообществе возникает из *сознательной ассоциации*, или, как можно было бы выразиться точнее, "общественного договора". Из этого первого принципа вытекает вся суть демократии, основанной на единственном моральном авторитете в государстве, и он развивается в выдающемся достижении Руссо, которое в гораздо большей степени, чем любое другое нерелигиозное произведение, повлияло на судьбу человечества.

Тому, кто хорошо знаком не только с содержанием, но и с манерой написания *Contrat Social*, удивительно наблюдать, какой критике подвергают его те, кто либо не читал эту работу, либо, прочитав ее, сделал это с несовершенным знанием значения французских слов. Два великих контраргумента, один теоретический, другой практический, с которыми приходится сталкиваться демократии, ярко представлены на этих страницах, хотя в столь коротком трактате автор мог бы не рассматривать их. Теоретический аргумент против демократии заключается, конечно, в том, что человек склонен к злу, и для управления им должно быть создано нечто внешнее по отношению к нему и безразличное к его страстям; народ будет развращаться сам, но деспот или олигархия, удовлетворив свои порочные желания, все равно имеет широкое поле, над которым он может хорошо править, потому что оно безразлично. Вы не можете подкупить деспота или олигарха за пределы его желаний, но целый народ может следовать своим собственным развращенным желаниям в полной мере, и они будут заражать все правительство.

Поэтому полная практика демократии, говорит Руссо, больше подходит ангелам, чем людям.

Что касается практического аргумента, что люди недостаточно осознают государство, чтобы практиковать демократию, кроме как в небольших сообществах, то этот аргумент также признан и изложен лучше, чем кто-либо другой. Ведь в этой книге не апология демократии как метода правления, а изложение того, почему и как демократия правильна.

Глупая путаница, в которой представительный метод считается по сути демократическим, никогда не подвергалась более презрительной критике и более тщательному анализу, чем в тех нескольких словах, в которых *Contrat Social* отвергает ее навсегда; хотя нашему времени оставалось выяснить в школе неприятного опыта, насколько прав был Руссо в этом конкретном осуждении.

Как бы ни были великий писатель ограничен в пределах, в которых он окончательно определил теорию демократии, он находит место для побочных вопросов, которые нигде, кроме как в этой книге, не были упорядоченно рассмотрены, и которые, услышав их, убеждаешься в их величайшей мудрости: Что фундаментальные законы, или изначальные и особые узы, новой демократии должны исходить из внешнего по отношению к ней источника; что в соответствии с характером народа, для которого принимаются законы, какой бы демократической ни была форма государства, мы должны сообразовывать особенности законодательства; что демократия не может жить без "трибунов"; что в государстве не может быть абсолютно жесткого закона - отсюда необходимость диктатуры в исключительные времена; что никакой кодекс не может предвидеть будущих деталей и так далее.

Было бы законной и увлекательной задачей бросить вызов любому человеку, который не читал *Contrat Social* (а к ним относится большинство академических авторов этого трактата),

бросить вызов любому такому человеку, я говорю, выдвинуть аргумент против демократической теории, который нельзя было бы найти на этих нескольких страницах, или предложить ограничение, которого Руссо не касался.

Если бы потребовалось доказательство того, какими особыми достоинствами обладает этот памфлет, достаточно было бы указать на то, что во времена, когда проблема, представляемая религией, была наименее осмыслена, когда религиозная практика была на самом низком уровне и когда смысл, почти смысл религии, покинул умы людей, Руссо был способен написать свою последнюю главу.

То, что великое религиозное возрождение XIX века должно было доказать недостаточность взглядов Руссо на религию в государстве, ничуть не удивительно, ведь когда Руссо писал, о таком возрождении и не мечтали; удивительно то, что он должен был допустить, как он это сделал, религиозное чувство, и, прежде всего, то, что он должен был увидеть, насколько невозможно, чтобы выбор христианских догм был принят в качестве гражданской религии.

Удивительно, что в такое время нашелся человек, который понял, что для единства государства оно должно обладать религией, а попытка Руссо определить тот минимум или субстрат религии, без которого единство в государстве не может существовать, к сожалению, стала общим местом политиков, особенно английских, которые пришли ему на смену. Кто, например, не подумает, что читает - хотя, конечно, лучше, чем это мог бы выразить политик, - какого-нибудь "либерального" политика в Вестминстере, если встретит такие фразы, как эти, относительно того, что должно преподаваться в школах страны?

"Доктрины, преподаваемые государством, должны быть простыми, немногочисленными, выраженными с точностью, без объяснений и комментариев. Существование могущественного Бога, благодетельного, провиденциального и доброго; будущая жизнь; счастье добрых и наказание злых; святость соглашений, скрепляющих общество, и законов; что же касается отрицательных доктрин, то достаточно одной, и эта одна - зло нетерпимости".

Сто страниц Руссо являются прямым источником теории современного государства; их ясность и непревзойденная экономия дикции, их жесткий анализ, их эпиграмматические суждения и мудрость - вот резервуары, из которых вытекает современная демократия; то, что сейчас доказано как ошибки демократии, - это ошибки, от которых *Contrat Social* предостерегал людей; моральная апология демократии - это моральная апология, написанная Руссо; И если в этом единственном вопросе религии он затронул более путаную и менее решительную ноту, чем в остальных, то следует помнить, что в его время никто другой не понимал, какую роль играет религия в человеческих делах; ибо в его дни те немногие, кто изучал религию и наблюдал за ней, не могли связать ее каким-либо образом с политической природой человека, и из тех, кто считался с интеллектом Европы, гораздо большее число считало, что политические проблемы лучше решаются, если религия (которую они потеряли) рассматривается как незначительная. Они ошибались, а Руссо в своих общих рассуждениях о душе был недостаточен; оба были ниже уровня окончательной теории человека, но Руссо даже в этом вопросе религии подошел гораздо ближе к пониманию, чем кто-либо из его современников.

ГЕРОИ РЕВОЛЮЦИИ

КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XVI

Как и следовало ожидать, характер короля Людовика XVI подвергся большому искажению со стороны историков, чем любой другой из революционных деятелей; и это потому, что он сочетался со своим личным характером, с которым традиционно были связаны определенные точки зрения и методы действий, которые историк принимает как должное, когда имеет дело с характером человека. Как тот, кто думает о судьбе, занимающем какое-то положение на английской скамье, не может не верить, что он обладает некоторой образованностью, серьезностью и т. д.; как тот, кто слышит о знаменитом солдате, не может не верить, что он обладает определенными качествами, связанными с солдатским делом, так и историки склонны путать личность и характер Людовика XVI с его должностью; они либо по контрасту преувеличивают его нецарственные недостатки, либо по симпатии преувеличивают его королевскую оппозицию реформам.

Студенту лучше избегать этой ошибки и ее источника и думать о Людовике как о человеке, который был случайно, почти без подготовки, введен в должность, которую он занимал. Другими словами, при чтении Революции студенту будет полезно рассматривать Людовика XVI просто как человека, а его характер - как частный персонаж. Ведь этот последний из длинной, непрерывной череды Капетингов обладал характером, по сути, индивидуальным. Он принадлежал к тому типу, который, какие бы случайности судьбы ни выпадали на долю его обладателя, оставался неизменным. Не было ни одного человека, занимавшего высокий пост, которого этот пост в меньшей степени сформировал.

Люди, невосприимчивые к окружающей среде, обычно становятся таковыми по двум причинам: либо из-за интенсивной и яркой личной инициативы, которая может граничить с безумием, либо из-за чего-то толстого и тяжелого в их моральном обмундировании, которое защищает от внешнего воздействия внутренний темперамент личности. Последнее было характерно для Людовика.

Он очень медленно соображал и очень медленно принимал решения. Его физические движения были медленными. Движение его глаз было особенно медленным. Он имел свойство засыпать под действием усталости в самые неподходящие моменты. Развлечения его были самыми мелкими и поверхностными. Лошадиная игра, время от времени слегка тронутая эксцентричностью, и очень простые, но неожиданные шутки. О нем можно сказать, что он был одним из тех людей, которых ни в коем случае нельзя было надеяться убедить в чем-либо. Те немногие вещи, которые он принимал, он принимал довольно просто, а процесс рассуждения в устах любого, кто к нему обращался, всегда был слишком быстрым, чтобы он мог за ним уследить. Но не следует думать, что описанная моральная оболочка была обернута вокруг пустоты. Напротив, она имела вполне определенный характер. Луи обладал рядом глубоких убеждений, которые нельзя было поколебать. Он был глубоко убежден в существовании и ценности определенной корпоративной традиции в организме, которым он управлял: французская нация. Он был национален. В этом он отличался от многих педантов, многих придворных, многих церковников и многих женщин, особенно от своей жены.

Он, опять же, обладал всеми элементами католической веры.

Конечно, для человека его положения в такое время было необычно держаться за религию, но Людовик держался за нее. Он исповедовался, причащался, посещал мессу, совершал обычные богослужения - не по традиции, не в силу политического долга или государственной функции, к которым теперь сводилось исполнение религиозных обрядов у подавляющего большинства его богатых современников, а как человек, для которого эти вещи имели личную ценность. Если бы он, с точно таким же внутренним настроем, проснулся утром в своей постели и обнаружил, что он деревенский сквайр, а все его прошлое королевство было сном наяву, он бы продолжал исповедовать свою религию, как и прежде.

Это достаточно примечательный момент, поскольку деревенский сквайр, дворянин, юрист, университетский профессор поколения, непосредственно предшествовавшего Революции, как правило, не имел никакого представления о католической церкви. Для них вера была мертва, за исключением очень немногих, которые превращали ее, если можно так выразиться, в манию, и в своих преувеличениях сами доказывали глубину упадка, в который погрузилась галльская церковь.

Людовик XVI был одержим религией: это проявилось во многих его поступках, в его нерешительности назначить нескольких епископов-атеистов того времени, в его настоящих муках ответственности за гражданскую конституцию духовенства, и ни в чем ином, как в особой трезвости и твердом ритуале, с помощью которого он готовился к трагической, внезапной и бесславной смерти.

Далее следует отметить, что, хотя он был человеком еще не среднего возраста, и хотя он был совершенно лишен пылкости в любой форме, в нем с самого начала созрело большое мужество. Можно признать, что это качество в нем было связано с теми медленными процессами мышления и действия, которые мешали ему, но не следует объяснять его ими. Еще ни один человек не стал храбрым из-за простой глупости.

Это качество в нем проявилось не только в результате несчастных случаев во время революции: его физические привычки доказали его задолго до этого. Он был решительным и способным наездником на лошади: способности к этому упражнению невозможны для труса. Кроме того, в тех побочных продуктах храбрости, которые проявляются даже там, где не угрожает физическая опасность, он проявлял себя с лучшей стороны; он без колебаний противостоял нескольким мужчинам, и у него были способности к механическому ремеслу - делу, отнюдь не связанному с мужественностью.

Упомянув о его мужественности, студент должен помнить, хотя этот вопрос может быть затронут лишь вскользь, что Луи в этой области физической жизни страдал от механического дефекта, который серьезно искажил первые годы его брака, который, несомненно, ранил его самоуважение и который был, пожалуй, единственным, что вызывало у него постоянное беспокойство. Летом 1777 года ему была оказана медицинская помощь, но он уже три года был королем и семь лет мужем, прежде чем это облегчение пришло к нему. Эта трагедия повлияла на всю его жизнь и, повторяю, никогда не должна быть забыта, если рассматривать его или Марию-Антуанетту в их интимном характере и в их роли актеров в великой драме.

В остальном же характер Людовика выдавал некоторые неумелости (слово "неумелость" в данном случае гораздо точнее, чем слово "слабость"), которые были особенно роковыми для военного поста, который он занимал, и для воинственного кризиса, с которым ему пришлось столкнуться.

Немногие люди обладают тем глазомером, тонким сочувствием, очень быстрой силой решения и пониманием человеческих контрастов и различий, которые формируют искусного лидера вооруженных сил, больших или малых. Большинство мужчин - посредственности в сочетании этих качеств. Но Луи был исключительно безнадёжен в этих вопросах. Он никогда не мог ни увидеть простейшую позицию, ни оценить военные аспекты любого характера или любой группы людей. Он умел ездить верхом, но не мог скакать во главе колонны. Он был не просто плох в этом ремесле, он был ничтожен. Призванный рядовым в армию по призыву, он никогда бы не справился с обязанностями капрала. Он был бы невозможен в качестве сержанта; а обладая званием комиссара, насмешки заставили бы его принять увольнение.

Этот недостаток проявился не только или главным образом в его неспособности лично встретить вооруженный кризис революции; не только или главным образом в его полном расстройстве во время штурма дворца 10 августа: он был также, и гораздо более, катастрофической причиной его неспособности наблюдать или даже выбирать военных советников.

Те, кто в начале революции предлагает сдерживать толпу в Париже, - прекрасные полководцы: но Людовик этого не знает. Те, кто сменяет друг друга в военном министерстве или во главе армий во время активной части революции, разнообразны до крайности: но все они кажутся ему одним целым. Людовик не делал никакого различия между таким болваном, как Нарбонн, и таким тонким, обученным кавалеристом, как Дюмурье. Военные качества Ла Файетта (которые не стоило презирать) значили для него не больше, чем музыка, хорошая или плохая, для глухого человека. С начала и до конца движения вся военная проблема ускользала от него.

Другим недостатком его характера, имевшим первостепенное значение в такое время, была его неспособность ясно представить себе любую общую социальную проблему. Он хорошо понимал карты, хорошо запоминал статистику, но пейзаж, так сказать, революции его пухлые и вялые глаза совершенно не замечали. Он был совершенно не в состоянии увидеть, где таится опасность, а где поддержка, в каких больших массах сгруппированы такие-то и такие-то силы, в каких направлениях они продвигаются или должны отступить. В этом вопросе он был, как мы сейчас увидим, полной противоположностью Мирабо, и именно из-за этой слабости, или, скорее, из-за этой формы ничтожности, вся проницательность Мирабо была напрасна для Людовика.

Наконец, у него не было никакого рабочего понимания Европы. Он даже не преувеличивал силы союзников на поздних этапах революции, когда они шли на Францию. Он не недооценил и не переоценил политику и военно-морские силы Великобритании, военные ресурсы своих подданных, вероятные симпатии Нидерландов (антиавстрийских, но католических), упадок Испании, разделение и бессилие Итальянского полуострова. Людовик ничего из этого не видел.

В завершение картины (для целей такого короткого исследования, как это) можно сказать, что только одно совпадение могло провести его через лабиринт того времени с успехом. Этим совпадением должно было стать присутствие рядом с ним друга, которому он полностью доверял с детства, которого любил, который был так же религиозен, как и он сам, и обладал именно теми качествами, которых ему самому не хватало. Если бы Людовик нашел себе такого лейтенанта, то упомянутые мною качества стали бы своего рода килем и балластом, который обеспечил бы безопасность монархии, ибо он не был слабым, не был импульсивным, не был даже глупым: он был лишь жалко одинок в своих неспособностях. Конечно, такая натура не могла доверять и полагаться ни на кого, кто не был бы такого

близкого человека, а у него не было такого близкого человека, тем более такого, который мог бы обладать теми качествами, которые я предложил.

Его характер, каким он был, входит в число тех полудюжин, которые определили, что революция пошла по тому пути, по которому она пошла.

КОРОЛЕВА

Мария-Антуанетта представляет истории характер, который крайне интересно рассматривать в целом. Рассматривать этот характер в целом - дело ее биографов; но в ее связи с Революцией важен лишь один аспект, а именно отношение, которое такой характер должен был занять по отношению к французской нации, в центре которой оказалась королева.

В том, чтобы понять, какая пропасть отделяла ее не только от французского темперамента, но и от понимания всего французского общества, и заключается решение всей проблемы, которую ставит перед нами поступок королевы. Если бы она была женщиной, лишенной энергии или решительности, этот чуждый ей характер был бы пустяком, а ее незнание французов во всех формах их деятельности, или, скорее, ее неспособность понять их, была бы лишь частным недостатком, имеющим лишь некоторые местные и непосредственные последствия, но никак не определяющим великие линии революционного движения.

В действительности же ее энергия была не только велика, но и непоколебима; с годами она становилась все более уверенной в своих действиях, а инициатива, придававшая этой энергии направление, никогда не колебалась, но всегда была прямой. Она знала свой ум и пыталась, часто с частичным успехом, воплотить свои убеждения в жизнь. В первые годы революции не было ни одной личности, связанной с исполнительной властью, которая могла бы сравниться с ней по твердости цели и определенности взглядов.

Именно благодаря этой энергии и непоколебимости цели ее непонимание материала, с которым ей пришлось иметь дело, имело такое роковое значение.

Именно она выбрала перед началом революции преемников тех министров, как либеральных, так и реакционных, чьи неразумные планы с той или иной стороны привели к насилию. Именно она призвала, затем отозвала, а позже вернула на пост богатого и переоцененного Неккера; она заменила его, а затем так несвоевременно отбросила Калонна, самого национального из провозвестников Революции и впоследствии ее злейшего врага; именно она советовала наиболее раздражающие детали сопротивления после заседания первого революционного парламента; именно она руководила (и помогла исказить) планы бегства королевской семьи; Именно она, после того как это бегство не удалось, разработала определенную схему принуждения французского народа правительствами Европы; именно она передала иностранным канцеляриям план французской кампании, когда война стала неизбежной; наконец, именно она вдохновила Брауншвейгскую декларацию, сопровождавшую вторжение на территорию Франции, и, в частности, была автором содержащейся в ней знаменитой угрозы отдать Париж под военную казнь, а всем народным властям отвечать жизнью за восстановление дореволюционного положения вещей.

По мере продвижения исследований капитальный эффект от постоянного и решительного вмешательства этой женщины будет становиться все более очевидным для историков.

Представление Марии-Антуанетты о человечестве в целом было таким, какое можно встретить в таких обществах, как тот домашний и теплый центр, который питал ее детство.

Романтическая привязанность нескольких равных, личная преданность горстки личных слуг, неясное гистрионное содержание, проникающее в бедняков при виде огромных экипажей и богатой амуниции, ликование толпы, когда такие символы монархии выставляются на улицах, - все это было для Марии-Антуанетты основополагающими политическими чувствами человечества. Отсутствие их она воспринимала с недоумением, активное противодействие им она ненавидела как нечто одновременно непонятное и положительно дурное.

Во всех этих иллюзиях, конечно, присутствовал большой элемент того, что англичане называют средним классом, а французы - буржуа. Быть в полном неведении относительно того, что слуги говорят о своих хозяевах за их спиной; не понимать, что героическая преданность - удел немногих; не представлять себе недовольства людей в целом и творческого стремления к самовыражению, которое окрыляет людей, когда они действуют политически; Не знать, что люди в целом (и особенно французский народ) не обманываются случайностью богатства и не придают реальной неполноценности бедности; презирать общую волю чисел или сомневаться в ее существовании; видеть, что в обществе установилась иерархия не должностей, а досуга: все это может показаться демократу очень неестественным и презренным настроением. Но в случае Марии-Антуанетты оно не было ни презренным, ни тем более противоестественным: это был единственный опыт и единственная концепция общества, которые когда-либо были ей даны. Она всегда верила, глядя на народные массы, что разница между ней и толпой - это моральная реальность. Контраст во внешних привычках между богатыми, средним классом и бедными - контраст, в конечном счете вызванный различиями в возможностях и досуге, которые дает богатство, - она считала фундаментальным. Подобно детям и некоторым домашним животным, рассматривающим экономические случайности в обществе как нечто реальное, различающее людей, она тоже так считала; но ей случилось питать эту иллюзию в среде народа и в нескольких днях ходьбы от столицы, где это заблуждение имело меньшую силу, чем в любом другом районе Европы.

О чертах, присущих французам, она ничего не знала, или, выражаясь более резко, не могла поверить, что они действительно существуют.

Крайности жестокости, в которые может впасть этот народ, были для нее немыслимы, равно как и крайности мужества, до которых он может подняться под влиянием тех же волнений, что пробуждают в нем избыток ненависти. Но та особенность французов, которую она совершенно не смогла предвидеть или понять, заключалась в их способности к *корпоративной организации*.

То, что множество людей может проинструктировать и упорядочить себя для достижения общей цели, быстро найти и назначить офицеров, которые должны привести эту цель в исполнение, и вообще в один момент превратиться из простого множества в зарождающуюся армию, - это способность, которой французы обладали и обладают в особой степени, и которую она (как и многие из наших современников, особенно немецкой крови) не могла считать реальной. Эта способность французов, проявившаяся в физической борьбе революции, казалась ей до самого конца каким-то кошмаром; чем-то, что по всем законам реальности *не должно* было происходить, но так или иначе происходило каким-то зловеще-чудесным образом. Именно ее невежество в этом главном вопросе заставляло ее постоянно полагаться на использование регулярных войск, причем войск в недостаточном количестве. Она не могла не верить, что несколько обученных солдат обязательно должны быть хозяевами огромных гражданских тел; их форма была для нее весомым аргументом, а простые гражданские тела, какими бы многочисленными они ни были, в ее представлении

всегда были пылью разрозненного и неполноценного человечества. Она считала, что в народных массах нет ничего, на что можно было бы напасть или оказать сопротивление, кроме мнения, страха или скупости отдельных людей. В этом ошибочном суждении о французском народе она не была особенной: эту ошибку снова и снова повторяют иностранцы и даже некоторые отечественные комментаторы, когда пытаются объяснить какое-либо национальное движение галлов. Отказ от нее - первый урок, который должны усвоить те, кто хочет либо управлять французами, либо противостоять им.

В вопросах религии (которые, как читатель может убедиться на этих страницах, имеют столь важное значение в революционной истории) королева изначально была гораздо более равнодушна, чем ее супруг, хотя и соблюдала определенную меру личной практики. Только когда на нее обрушились тяжелые несчастья, в ее повседневной жизни появилась хоть какая-то степень личной набожности, хотя следует признать, что, предчувствуя беду, она обратилась к религии в месяцы, непосредственно предшествовавшие началу реформы.

Остается описать, какое личное влияние она оказывала на тех, кто находился в ее непосредственном присутствии. Большую часть французской аристократии она оттолкнула. То же несчастье, которое сделало ее неспособной понять французский темперамент в целом, отделило ее от того его уголка, который принял форму французской аристократической традиции. Она не понимала ее жесткости, ее точности, ее блеска или ее твердости: и все это ей очень не нравилось.

Поэтому она произвела на великие семьи своего двора, и особенно на их женщин, эффект вульгарности. Если бы она выжила, и если бы ее несчастья не были столь трагичны, легенда, которую она оставила бы во французском обществе, несомненно, была бы легендой о легкомысленной небрежности, самовлюбленности и отсутствии достоинства, которые имеют для французов того ранга тот же привкус, что громкий голос, плохой акцент, недостаточное соблюдение правил повседневного поведения, оставляют в Англии то, что осталось от соответствующего ранга в наши дни.

С другой стороны, ее легко было обмануть лестью искателей места, а огромная власть, которой она обладала в политике незадолго до начала Революции, сделала ее своего рода *задницей* для политиков.

Они боялись ее присутствия, зависели от ее покровительства и в то же время втайне высмеивали ее. Ее поход, призванный произвести впечатление на зрителей и действительно производивший такой эффект на большинство иностранцев, казался большинству французских наблюдателей (того ранга, который позволял им приближаться к ней на близкое расстояние) несколько театральным, а иногда и вовсе абсурдным. Серьезность, которую она демонстрировала в некоторых линиях поведения, и особенно в ее решительной враждебности к некоторым персонажам (например, к Ла Файету), была открытой и жестокой, что казалось им просто грубым и неинтеллигентным; ее роскошь, более того, была замечена изысканным миром Версаля, едва ли когда-либо была по ее собственному выбору, но почти всегда практиковалась в подражании другим.

В связи с этой чертой роскоши читатель должен с самого начала понять, что она была сильно преувеличена ее современниками и еще больше преувеличена потомками. Она не была очень легкомысленной, а тем более рассеянной женщиной. Она была ужасно распущенной на язык, но, безусловно, добродетельной.

Она играла в азартные игры, но, учитывая время и предполагаемое неограниченное состояние короны, ее азартные игры не часто были чрезмерными; ее расходы на украшения и платья считались бы самыми умеренными в наши дни в случае любой дамы из наших богатых семей. С другой стороны, ее прихоти были постоянны и так же постоянно менялись, особенно в начале ее жизни.

Поскольку окружавший ее придворный мир, который она не понимала и которому не сочувствовала, был готов найти какую-нибудь палочку-выручалочку против нее, за эту палочку-выручалочку было легче всего ухватиться; но обвинение было несправедливым.

Если бы судьба сделала ее женой бедняка из низшего слоя общества, Мария-Антуанетта была бы способной домохозяйкой: ее богатая энергия нашла бы достойное применение, и она ни в коем случае не была экстравагантной от природы.

У нее было несколько очень страстных и слишком сентиментальных дружеских связей, некоторые из которых были возвращены, а другие использовали в своих интересах. Наиболее известны две дружбы - с принцессой де Ламбаль и с мадам де Полиньяк. Они нередко подталкивали ее к неразумным актам покровительства, которые тут же подхватывались народным голосом и обращались против нее. Они были одной из немногих слабостей, проявлявшихся в ее общем характере. Они, безусловно, были плохо сбалансированы и плохо оценены.

Она также предавалась множеству мелких и ничего не значащих флиртов, которые можно назвать обыденностью ее положения и мира; в ее жизни была только одна большая привязанность к противоположному полу, и она с готовностью отвечала на нее. Ее объектом был шведский дворянин ее возраста, полная противоположность французу по темпераменту, романтически-рыцарский, непрактичный до крайности, нежный, очень сдержанный; его звали граф Аксель де Ферсен. Роман остался чистым, но она любила его всем сердцем, и в последние месяцы трагедии это чувство должно было считаться главной заботой ее души. Они виделись очень редко, часто разлучались на годы; возможно, именно это придавало странному роману и очарование, и верность.

МИРАБО

Мирабо, главный из "практических" людей Революции (так в английском языке обозначается наиболее существенный момент в их политической позиции), нуждается в особом рассмотрении. Его влияние на раннюю часть Революции было столь значительным, последствия его смерти были столь определяющими и окончательными, предположения о том, что *могло бы* произойти, если бы он выжил, столь плодотворны, столь занимательны и столь распространены, а положительное влияние его позиции на развитие Революции после его смерти столь широко, что неправильно понять Мирабо - значит в значительной степени неправильно понять все движение; И Мирабо, к сожалению, был плохо или поверхностно понят многими из трех поколений историков; ведь понимание этого персонажа не является предметом исследования или накопленных исторических деталей, а скорее задачей сочувствия.

Мирабо был, по сути, художником, с теми способностями и недостатками, которые мы связываем с этим понятием: сильные эмоции привлекали его как внутренне, так и внешне. Он любил наслаждаться ими сам, любил вызывать их у других. Поэтому он изучал материал, с помощью которого можно вызвать такие эмоции, и был мастером в этом деле; он сам поддавался сильным эмоциям и искал их там, где их можно было найти. Глупо как преуменьшать, так и преувеличивать этот тип темперамента. На нем или на его примеси к

другим качествам основаны музыка, пластическое искусство и в значительной степени постоянная литература мира. Эта способность к наслаждению и созданию у других эмоций облакает интеллектуальную работу в форму, которая делает ее постоянной. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что *стиль* необходим для книги; что о великой цивилизации можно судить отчасти по ее архитектуре; что, как говорит Платон, музыка может быть нравственной или безнравственной и т. д. Художник, хотя он и не стоит у истоков человеческих дел, является необходимым и правильным союзником в их развитии.

Когда я говорю, что Мирабо был художником, я имею в виду, что везде, где его энергия могла найти игру, он хотел наслаждаться и создавать наслаждение с помощью определенного средства. Этим средством отчасти была литература, но в гораздо большей степени - устная речь. Быть *трибуном*, то есть голосом огромного количества людей, убеждать, нет, радовать своими акцентами и ритмом предложений - все это занимало человека; но он также привносил в свое искусство то, без чего не может существовать ни одно великое искусство: простой интеллект.

Он верил, по крайней мере, в основные принципы, лежавшие в основе революционного движения, он понимал их и был готов их пропагандировать; но его власть над людьми не была обусловлена этим убеждением: его власть над людьми была всецело властью художника, и если бы он по какой-то случайности оказался вовлечен в поддержание атаки против демократии, он был бы почти так же знаменит, как он стал под титулом ее защитника. Таким образом, мы всегда должны рассматривать Мирабо как оратора, хотя и оратора, наделенного тонким и ясным умом и в немалой степени обоснованной верой.

Остается сказать о нем еще многое.

Он был джентльменом, то есть одновременно наслаждался и страдал от последствий, которые влечет за собой наследственное богатство и атмосфера, окружающая его расходование. Поэтому, будучи лично недостаточно обеспеченным, он вечно был в долгах и рассматривал суммы, необходимые для его положения в жизни и для его больших возможностей, как вещи, причитающиеся ему, так сказать, от общества. Мы правы, когда говорим, что он брал взятки, но ошибаемся, если представляем, что эти взятки связывали его так, как связали бы человека с более низким характером или менее удачливого по рождению. Он, как и подобает джентльмену, опускался до всевозможных низких интриг, чтобы получить "необходимое и где", то есть деньги за свою *роль*. Но за ним стояла движущая сила, связанная со всем его характером, которая не позволяла никаким суммам контролировать его дикцию или делать из такого человека простого адвоката. Он никогда не был тем самым грязным политическим явлением, "человеком партии". Он никогда бы не стал, родись он сто лет спустя и попав в мерзость современной парламентской жизни, "парламентской рукой".

За плечами Мирабо была определенная личная история, которую мы должны рассматривать в связи с его темпераментом.

Он много путешествовал, хорошо знал англичан и немцев из богатых слоев общества. Население он знал плохо даже в своей стране; за границей он не знал его вовсе. Он страдал от неприязни к нему отца, от последствий собственных необузданных страстей, а также не мало от случайных несчастий. Он был способен на длительную и верную привязанность к какой-нибудь женщине, но возможности для этого у него не было до последних месяцев перед смертью. Способный преданно и усердно служить какой-либо политической системе, он не был выбран ею в качестве слуги. Плодотворно рассуждать о том, что он мог бы сделать для французской монархии, если бы судьба рано поставила его при дворе и дала ему право

голоса в делах французской исполнительной власти до того, как разразилась революция. Революция же предоставила ему такую возможность лишь потому, что разрушила старые барьеры и условности и уничтожила рамки государства, в котором он жил. Он был вынужден вступить в Революцию как некий разрушитель, поскольку никаким другим путем он не мог получить свой шанс; но по своей природе он ненавидел разрушение. Я имею в виду (поскольку эта фраза несколько расплывчата), что он ненавидел тот дух, который лишает нацию определенных постоянных институтов, служащих определенным целям, без четкой схемы того, как эти институты должны быть заменены другими, служащими тем же целям. Именно поэтому он был самым искренним и неподдельным защитником монархии: постоянного института, служащего определенным целям национального единства и подавления тенденций к олигархии в государстве.

Мирабо не обладал революционным видением. По уму он был преждевременно стар, так как его ум очень быстро работал очень разнообразным полем опыта. Чистую доктрину демократии, которая была религией для многих его современников, со всеми вытекающими отсюда последствиями, он и не думал принимать. Но некоторые последствия предлагаемых реформ пришлись ему по душе. Ему нравилось избавляться от бессмысленных и мертвых барьеров, от привилегий, которые больше не соответствовали реальным социальным различиям, от старых традиций в управлении торговлей, которые больше не соответствовали экономическим условиям его времени, и (это ключевой момент) от окаменелостей старого религиозного вероучения, которое, как и почти все люди его ранга, он просто считал мертвым: ведь Мирабо был полностью разведен с католической церковью.

Многое было сказано и еще будет сказано на этих страницах о религиозной ссоре, которая, хотя люди вряд ли знали об этом в то время, пролегла прямо через революционные усилия и которой суждено было сформировать долговременную линию раскола во французской жизни. Вновь и вновь будет повторено то, что уже было написано: примирение между католической церковью и восстановление демократии было, хотя люди и не знали этого, главным мирским делом того времени, и читатель этих страниц будет хорошо ознакомлен с тем, до какой степени деградации дошла религия среди культурных людей того поколения. Но в случае с Мирабо на этом отсутствии религии следует остановиться особо. Мирабо не пришло бы в голову, что у католической веры есть будущее, как не пришло бы в голову (скажем, английскому политику тридцатилетней давности), что ирландцы могут стать богатой общиной или что английское правительство в течение своей жизни может оказаться в затруднительном положении с деньгами. Я использую эту параллель для того, чтобы усилить свое утверждение, но это действительно слабая параллель. Ни одна современная параллель в наше странное и быстро меняющееся время не соответствует той непоколебимой уверенности, которой был пронизан весь конец XVIII века, что католическая вера мертва. За всю свою жизнь Мирабо, пожалуй, не встречал в задушевных беседах ни одного человека, который бы серьезно относился к католическим таинствам или ни на минуту не задумывался о догматах вероучения.

Он, конечно, знал, что некоторые женщины и гораздо меньшее число незначительных мужчин предаются старинным обрядам странного, суеверного толка; знал, что огромные, скучные массы невежественного крестьянства, в меру своей бедности и замкнутости, повторяют заученные наизусть старые формулы веры. Но о вере как о живом существе он не имел ни малейшего представления.

С одной стороны, он видел клерикальный институт, экономический по своему характеру, обеспечивающий местами и доходами людей его собственного ранга; он встречался с этими людьми и не обнаружил у них никакой религии. С другой стороны, он видел предлагаемое общество, в котором такое ископаемое, несправедливое и бессмысленное, должно отказаться от своей хватки на эти большие доходы. Но о вере как о социальной силе, как о вещи, способной возродиться, он не мог составить никакого представления. Ему казалось бы просто глупостью предполагать, что будущее может содержать возможность такого воскрешения. Роспуск религиозных орденов, который в значительной степени был его делом, гражданская конституция духовенства, которой он руководил, были для него самыми естественными действиями в мире. Они были простым сметанием множества неорганических вещей, которыми обременено современное государство. Он относился к ним так же, как мы относимся к покупке пустырей в наших городах, к конфискации собственности некоторых плохих помещиков. Церковь не служила никаким целям, в нее не верили, ее защищали только люди, получавшие большие доходы от выживания того, что когда-то было, но теперь перестало быть живой, социальной функцией.

Во всем, что касалось Революции, которую он понимал, Мирабо был на стороне осторожности. Он не забывал о концепции народного правительства, он даже не испытывал к нему недоверия, но он не мог представить себе его иначе, как действующим через установленную силу богатых классов. О военной силе он в значительной степени судил прусскими глазами. В длинных и восторженных пассажах он описывал прусскую армию как непобедимую. Если бы он дожился до военного энтузиазма республиканцев, он бы с полным недоверием отнесся к нему. В душе он поддерживал аристократический механизм общества, хотя и не аристократическую теорию государства; он был полон решимости сохранить в качестве живого, но уменьшенного национального органа традиционную монархию Франции; его интересовал ряд деталей, которые присутствовали и были близки его глазам: методы голосования, конституционные сдержки, торговые кодексы и все остальное. Его интересовали и маленькие равновесия дипломатии, и наблюдение за людьми, находившимися под его пристальным взглядом в парламенте.

Именно в парламенте проходила вся его деятельность, именно там он начал руководить революцией, именно его отсутствие в парламенте после его смерти больше всего ощутила революция летом 1791 года.

Этот очень краткий очерк не представляет читателю Мирабо. Он может быть правильно представлен только в своих речах и в более риторических документах. Вероятно, со временем его репутация в этой области будет расти. Его конституционные идеи, основанные на иностранных институтах, особенно на английских того времени, не были применимы к его собственному народу и теперь почти забыты: он ошибался в английской политике, как ошибался в немецких армиях, но он владел искусством владеть людьми, и его личность сохраняется и растет со временем.

ЛА ФАЙЕТТ

Характер Ла Файетта пострадал главным образом от его собственной отстраненности по отношению к современникам, с одной стороны, и от его жесткой принципиальности - с другой. Обе эти причины четко взаимосвязаны. то же качество, которое делало его таким упорным на принцип, заставляло его презрительно относиться к окружающим его людям. По сути, он был ближе к крайним республиканцам, чем к любому другому классу, в силу самого факта наличия у него четкого политического кредо и решимости следовать ему до логического конца. Но у него не было ни малейшего шанса понять конкретную сторону

движения или людей, участвующих в нем, поскольку огромное богатство, унаследованное в раннем возрасте, отрезало его от опыта. Его моральным недостатком, несомненно, было честолюбие. Это было честолюбие, которое работало как бы в пустоте и никогда не соизмеряло себя с способностями или возможностями других людей. Он не строил планов продвижения по службе не потому, что презирал интриги, а потому, что был неспособен к ним. Он был очень привязан к популярности, когда она приходила, он считал ее своей заслугой; непопулярность, в свою очередь, казалась ему доказательством мерзости тех, кто его презирал. Он слишком много мерил себя мерилем своего мира.

Несомненно, очень большую роль в формировании его характера сыграл опыт жизни в Соединенных Штатах Америки. Тогда он находился в самом впечатлительном и формирующемся периоде человеческой жизни, был еще мальчиком или, по крайней мере, только вступал в пору ранней зрелости. Он только что женился, только что вступил в управление своим огромным состоянием. В такой момент он принял участие в победоносном восстании в английских колониях, и можно представить себе, насколько сильным было влияние этого юношеского видения на всю дальнейшую жизнь этого человека; потому что в колониях не было пролетариата, он никогда не видел и не понимал обездоленные классы Парижа - и уж тем более он никогда не видел и не понимал французское крестьянство на своих собственных землях; потому что случайные и добровольные солдаты в особых условиях полузаселенного Атлантического побережья в сочетании с французским флотом и при помощи французских денег и оружия одержали верх над небольшими и разнородными силами Георга III, он верил, что такая военная нация, как французы, в окружении сильных врагов может сделать что-то из самостоятельных гражданских сил; поскольку определенный тип легкости в социальных отношениях был идеалом многих, возможно, большинства тех, с кем он служил в Америке, он спутал столь простой и обыденный идеал с яростным крестоносным взрывом и священной страстью к равенству, которые будоражили его собственную нацию, когда ему представилась возможность стать лидером.

О Ла Файете можно справедливо сказать, что он ни разу не поступил правильно. Можно также сказать, что он никогда не совершал политически важных поступков, за которые его впоследствии упрекнула бы собственная совесть. Примечательно, что королева питала к нему особую неприязнь. Он был богатым молодым дворянином при дворе, другом всех ее подруг, и поэтому его симпатии к революционному движению в самом начале его зарождения казались ей ничем иным, как изменой. Кроме того, в его манере поведения, несомненно, было нечто, что вызывало у нее отвращение; то, что она была самодостаточной, не вызывает сомнений, а то, что она часто была тщетной и потому раздражала женщин, достаточно показать событиями. Но яростный личный антагонизм Марии-Антуанетты к Ла Файету не был общим, хотя некоторые пылкие духи (например, Дантон) разделяли его. Большинство тех, кто сталкивался с Ла Файетом, испытывали по отношению к нему раздражение, презрение или довольно слабое и отстраненное уважение; он не внушал никакого энтузиазма, и когда после падения монархии он предпринял робкую попытку восстания против нового правительства, никто не стал жертвовать собой или следовать за ним.

О Ла Файете можно сказать, что если бы его не было, то революция развивалась бы примерно так же, как и развивалась, за исключением того, что не было бы сформировано вооруженной гвардии из представителей среднего класса, чтобы провоцировать трения в Париже: Национальная гвардия была бы более открытой для всех сословий.

В религии он был анодином, католиком, конечно, по крещению, но явно протестантом по нравам и общему тону, в догматах (до конца жизни) свободомыслящим, конечно, как и все

его современники. Он был лично храбр, но по глупости презирал дуэль. Один анекдот из многих поможет закрепить его характер в сознании читателя. Мирабо, как обычно, искал помощи в своих долгах и срочно обратился к нему, как к товарищу по благородству, товарищу по политике и товарищу по поддержке короны, с просьбой о займе в 2000 фунтов. Ла Файетт предоставил ему 1000 фунтов.

ДЮМУРИЗ

Дюмурье представляет собой характер, особенно трудный для понимания современного англичанина, настолько он далек по обстоятельствам и основам жизни от людей нашего времени.

Хорошего происхождения, но рожденный в поколении, когда социальные различия стали шуткой для умных и деятельных людей (а он был умным и деятельным), храбрый, хорошо знающий свое солдатское ремесло, быстро принимающий решения и прекрасно разбирающийся в вопросах, касающихся войск или *местности*, он был в море в понимании людей и не хранил верности государству.

Именно эта последняя черта особенно удивит английского читателя, ведь это исключительное и постоянное преимущество олигархических сообществ, таких как британское, заключается в том, что они сохраняют при любых нагрузках и демонстрируют по всему содружеству чувство государства. Предательство государства, действия против его интересов, несовершенное сознание его существования - преступления или слабости, неизвестные гражданам олигархии, и гражданину этой страны нелегко представить их себе сегодня. В демократиях и деспотиях, с другой стороны, забывать о своем долге перед государством, почти не замечать его корпоративного существования - обычная слабость. Здесь есть компенсация, и в той мере, в какой деспотия и демократия допускают быстрые, эффективные и всепобеждающие действия стороны государства, в той мере, в какой они допускают внезапные и иногда чудесные энтузиасты, которые спасают или утверждают государство, в той же мере им не хватает спокойного и стойкого сознания государства, которое олигархия воспитывает и определяет.

Превосходство Дюмуреца как генерала может оценить только тот, кто внимательно изучил состав войск, которыми ему предстояло командовать, и противников, с которыми ему пришлось иметь дело. Главным качеством великого полководца является готовность его ума к любым изменениям в обстоятельствах или в имеющемся в его распоряжении материале, и даже если учесть элемент удачи, столь значительный в военном деле, мы не должны забывать, что Дюмурецу удалось спасти без катастрофы жалкие и дезорганизованные группы, неоформившиеся и во многом мятежные в своих старых частях, никчемные и дилетантские в своих новых, которые должны были встретиться в Аргонне и за Аргонном с образцовой армией Пруссии.

Мы не должны забывать, что его план вторжения в Низкие страны был справедливым и разумным, и с каким мастерством, после неизбежного поражения и отступления весной 1793 года, он сохранил свое командование в целостности.

В качестве подчиненного вооруженной исполнительной власти, например, правительству Наполеона, этот человек был бы бесценен. Если бы обстоятельства позволили ему сохранить за собой верховное командование гражданской и военной властью, из него получился бы неплохой диктатор. Его простое техническое мастерство было настолько значительным, что большие суммы, выплаченные ему английским правительством, казались хорошей сделкой

даже в наше время, а его планы по обороне Англии и нападению на Наполеона являются доказательством того, как его оценивали.

Но Дюмурье был совершенно не способен действовать в тех особых обстоятельствах, в которых он оказался в момент своей измены. Простое честолюбие вело его от интриги к интриге среди политиков. Он презирал их так, как должен был презирать активный и способный солдат; он был слишком стар, чтобы разделять их энтузиазм, даже если бы его темперамент позволял ему иметь какие-либо взгляды, политические или религиозные. Он, конечно, никогда не чувствовал ни малейшей моральной связи с тем, что в его глазах было случайной анархией последних шести месяцев французского правительства, при котором он служил, и если его можно заклеить титулом предателя, то мы должны заклеить тем же титулом все то множество разнообразных людей, которые бежали из страны в эмиграции, покинули ее с отвращением или даже остались во Франции, но отчаялись в судьбе Франции во время беспорядков 1793 года.

Возможно, это достойное оправдание неспособности Дюмурье указать на то, что он также был одним из тех, кого двор мог бы использовать, если бы знал, как использовать людей; но у двора не было таких знаний.

ДАНТОН

Характер Дантона произвел на мир более сильное впечатление, чем характер любого другого революционного лидера, потому что в нем содержались элементы постоянно человеческие, независимые от демократической теории того времени и не нужные ни для поддержки этой теории, ни для ее критики.

Характер Дантона обращен к тому чувству в человеке, которое заинтересовано в действии и которое в области письма принимает форму драмы. Его энергичность, его личная сила духа и тела, индивидуальность его очертаний в равной степени арестовывают и того, кто любит Революцию, и того, кто ее ненавидит, и того, кто совершенно равнодушен к ее успеху или неудаче.

Именно по этой причине историки, особенно иностранные, склонны неверно трактовать этого человека. Так, Карлейль, обладающий большой интуицией в этом вопросе, все же выставляет его фермером, каковым он, конечно, не был; Мишле, очарованный его энергией, представляет его как нечто неотесанное, и в целом те, кто описывает Дантона, стоят как бы на расстоянии, где его громкий голос и решительные жесты могут быть лучше всего оценены; но человека, которого можно увидеть по-настоящему, нужно видеть вблизи.

Дантон, по сути, представлял собой соединение двух мощных характеров в человеке. Он был дружелюбным или конструктивным, и в то же время не только обладал ясностью мысли, но и любил ее проявлять. Это сочетание является одним из самых сильных среди всех тех, которые способствуют формированию человеческой личности.

То, что было в нем созидательным и конструктивным, его мужественность, если хотите, приводила его в тесный контакт с реальностью; он знал и любил свою собственную страну, например, и бесконечно предпочитал ее счастливое выживание полному развитию любой политической теории. Он также знал и любил своих соотечественников в деталях и как личности; он знал, что делает француза слабым, а что - сильным. Гугенотская жилка, хотя он и не знал, что это такое, не нравилась ему в соотечественниках. С другой стороны, соль и свежесть французов были для него родными, и он наслаждался ими; свобода их выражения, шум их риторики, их военный подтекст - на все это он сразу же откликался. Он понимал их

смех и не был шокирован, как это сделал бы человек менее национальный, их специфически национальными пороками, и в особенности их приступами ярости. Именно этим следует объяснить то, что все беспристрастные суждения больше всего ставят ему в вину, - его равнодушие к жестокостям, его поглощенность иностранными и военными делами в момент сентябрьской резни.

Это соприкосновение с реальностью позволило ему в какой-то мере (хотя и только извне) понять природу немцев. Глупая мания их правителей к простому территориальному расширению, не сопровождаемому убеждением или распространением своих идей, была ему понятна. Огромное превосходство их армий над дезорганизованными силами французов в 1792 году он четко уловил: отсюда, с одной стороны, его понимание их внешней политики, а с другой - его умение вести переговоры об отступлении после Вальми. Однако он также понимал, и более глубоко, быструю самоорганизацию, на которую были способны его собственные соотечественники, и именно на этом знании основывалась его решимость рискнуть продолжением войны. Следует отметить, что как в военных, так и в квазिवоенных действиях он сам был наделен в необычайной степени той силой мгновенного решения, которая характерна для его нации.

Ясность мысли позволяла ему предвидеть последствия многих революционных решений и в то же время склоняла его к сильной симпатии к демократическому вероучению, доктрине равенства и особенно к перестройке национальных институтов, в частности, его собственной профессии юриста, на простых началах. Он, несомненно, был искренним и убежденным революционером, чья доктрина пронизывала его больше, чем доктрины многих его современников, обладавших менее твердым умом. Но при этом он не был непременно республиканцем. Если бы какая-нибудь случайность заставила его гений вступить в игру на более раннем этапе развития борьбы, он вполне мог бы, подобно Мирабо, с которым он представляет столь любопытную параллель, решить, что для страны лучше сохранить монархию.

Не следует забывать, что он был человеком широкой культуры и достиг раннего и удовлетворительного профессионального успеха; он получал солидный доход в момент своей юношеской женитьбы; он много читал по-английски и мог говорить на нем. Его одежда не была дешевой, и хотя она была несколько беспорядочной (как это часто бывает у людей, обладающих большой энергией и постоянными жестами), она никогда не производила впечатления небрежности или беспорядка. У него было много разносторонних интеллектуальных интересов, и поэтому он был способен к разумному применению в нескольких областях. Он ценил быстрый рост физической науки и в то же время сложность старых социальных условий, слишком сильно отличавшихся от современных истин.

К религии он, разумеется, как и все люди того времени, был абсолютно равнодушен, но, в отличие от многих из них, уловил точную долю ее остаточного влияния на определенные районы и участки сельской местности. В последнее время существует тенденция преувеличивать роль, которую масонство сыграло в его появлении; он действительно был членом масонской ложи, как и все люди, заметные или малоизвестные, демократические или абсолютно реакционные, которые появились на революционной сцене: вероятно, король, конечно, старые аристократы, такие как отец мадам де Ламбаль, и все представители среднего класса, от таких людей, как Бейли, до таких, как Кондорсе. Но делать масонство определяющим элементом в его карьере - значит читать историю задом наперед и представлять себе черты нашего времени как существовавшие столетие назад.

Дантон не выдержал и умер по двум причинам: во-первых, подвело здоровье, во-вторых, он вторгся со своим здравомыслием и гражданским смыслом в раскаленную ярость и расчетливое военное положение второго года Республики. И в этой ярости, и в этих расчетах он был помехой; его оппозиция Террору лишила его поддержки энтузиастов, но именно вмешательство, которое такое суждение внесло в планы солдат, и в частности Карно, стало причиной его осуждения и смерти. Он также, как и Мирабо, несомненно, будет расти с годами и, хотя бы как представитель национального темперамента, станет все более и более типичной фигурой Революции в действии.

КАРНО

Карно, предшественник Наполеона и организатор первых революционных войн, своей силой был обязан хребту.

Он обладал не только крепким умом, но и удивительной способностью использовать его в течение многих часов подряд. Этим он, возможно, был обязан прекрасным физическим данным, из которых он происходил, будучи старшим в очень большой семье, родившейся в семье известного бургундского адвоката.

Гордость Карно заключалась в том, что он был комиссован по оружию, которое в тот момент должно было преобразить военное искусство: как Бонапарт, его преемник, был артиллеристом, так и он был сапером. Практика применения точных знаний на практике и либеральное образование, которого требовала его карьера, еще больше укрепили унаследованный им сильный характер. Еще важнее то, что в своих демократических взглядах он был убежденным и искренним, каким не был ни один из старших офицеров. Он не входил в сферу влияния очень богатых или очень влиятельных людей. Он был молод и знал свое мнение не только в вопросах политической веры, но и в общей области философии, и в частности в военной науке.

О нем говорили, что он изобрел революционный метод стратегического сосредоточения и тактического массирования в поле. В этом есть доля истины; но этот метод был бы невозможен, если бы он также не изобрел, в компании с Дантоном, и не поддержал после ухода Дантона из власти, всеобщую систему воинской повинности.

Карно понимал, как это могут делать только обученные солдаты, значение численности, и с *большой проницательностью полагался на национальный темперамент*; так, при Ваттиньи, победа над которым была непосредственно заслугой его гения, хотя в его действиях и была новизна в том, что он внезапно собрал войска справа после проверки крайней левой части поля, но эта новизна не имела бы никакого значения, если бы он не понимал, что, имея в качестве солдат своих молодых соотечественников, он может рассчитывать на заряд, полученный после тридцати шести часов бодрствования.

В войне он использовал не только национальный, но и революционный темперамент. Например, одной из главных особенностей революционных армий, когда они начали добиваться успеха, было создание линий скирмишеров, которые упорно продвигались перед основными частями и первыми в истории современной войны научились использовать укрытия. Это развитие было спонтанным: оно происходило внутри каждого подразделения, а не под общим командованием. Но Карно распознал его в Хундшоте и использовал в дальнейшем.

Стоическая негибкость его характера - самое благородное среди многих благородных качеств его души. Он так и не признал империю и перенес изгнание, показавшись тем

самым в глазах самого порочного и умного из своих современников, Фуше, просто глупцом. Он был так же жесток с собой, как и с другими, всецело военный по складу ума и главный распорядитель Террора, который он использовал, как и предполагалось, для военного спасения республики.

МАРАТ

Марата легко судить. Нетрудно оценить полную искренность энтузиаста, когда его энтузиазм посвящен простому человеческому идеалу, который был, так сказать, основополагающим и общим для всего человечества.

Равенство в государстве и управление государством по его общей воле: эти первичные догмы, на возвращении к которым держалась вся Революция, были кредо Марата.

Те, кто высмеивает или осуждает его за то, что он придерживался такого вероучения, явно не способны обсуждать этот вопрос вообще. Насмешки и осуждение, под которые справедливо подпадает Марат, относятся не к патентованным моральным истинам, которых он придерживался, а к тому, как он их придерживался. Он не просто придерживался их в отрыве от других истин - вина фанатика в том, что он не придерживается ни одной истины, - но он придерживался их так, как будто других истин не существовало. И всякий раз, когда он обнаруживал, что его идеал на практике работает с трудом или замирает, его недоеденный и острый энтузиазм сразу же искал козла отпущения, обнаруживал ответственного и предлагал жестокий выход для задержки.

Он часто был прав, когда обличал политического интригана: он часто приносил в жертву несправедливо осужденную жертву, он часто обнаруживал частично ответственного агента, и даже насильственные решения, которые он предлагал, не всегда были неосуществимы. Но главная ошибка его измученного ума заключалась в том, что кроме жертв и внезапных насильственных попыток добиться успеха демократии, он больше ничего не мог придумать. Он не мог допустить несовершенства, глупости, неправильного понимания разума разумом, простого действия времени и всего того, что делает человеческую жизнь бесконечно сложной и бесконечно регулируемой.

Юмора, отражения такой мудрости, ему не хватало; "рассудительности" (как гласит английская идиома) ему не хватало еще больше - если можно применить сравнительный термин к двум таким абсолютным пустотам.

Не следует забывать, что столь полное отсутствие некоторых необходимых качеств в формировании ума равносильно безумию. Марат не был безумен. Его безумие часто было великодушным, вероучение, к которому он примыкал, было достаточно очевидным, и в глазах большинства из нас это вероучение должно быть принято. Но он работал с ним так, как мог бы работать в нашем обществе безумец, помешанный на коллективизме, скажем, или на правах собственности, думая о своем единственном тезисе, крича о нем и с пеной у рта его обсуждая, теряя всякий контроль, когда его принятие даже не противостояло, а просто откладывалось. Он был бесполезен для достижения целей Революции. Его доктрина и его приверженность ей были настолько поразительно просты и искренни, что неудивительно, что народ сделал его (на несколько месяцев) своего рода символом своих требований.

В остальном же его лицо, как и характер, было измученным; он носил с собой кожную болезнь, которая постоянно раздражала его совершенно неуравновешенный нрав.

Некоторые говорят (но при чтении истории всегда следует остерегаться так называемой "науки"), что смешение расовых типов породило в нем вечное физическое расстройство: его лицо, безусловно, было искаженным и неуравновешенным, но физические предположения такого рода не заслуживают доверия.

Те, кто встречался с ним в управлении делами, считали его достаточно никчемным; немногие, кто знал его близко, любили его дорого; больше тех, кто сталкивался с ним постоянно, были утомлены и раздражены его пустой жестокостью. Среди молодых революционеров он был почти пожилым человеком; он был (об этом никогда не следует забывать) выдающимся ученым в своем ремесле, в медицине; и он добился в революции меньше, чем любой человек, к которому случайно приложилась репутация равной известности. Он должен нести ответственность за сентябрьскую резню.^[2]

РОБЕСПЬЕР

Ни один персонаж Революции не требует для своего понимания более широкого прочтения и более глубокого знания национального характера, чем Робеспьер.

Ни от одного персонажа не зависит в большей степени понимание эпохи, и ни один из них (по причинам, о которых я расскажу в ближайшее время) не был понят более превратно не только в народной легенде, но и во взвешенных решениях компетентных историков.

Это настолько верно, что даже время, которое (в компании с ученостью) обычно исправляет подобные ошибки, еще не позволило современным авторам дать истинное представление об этом человеке.

Причина столь явного провала в области истории заключается в том, что наряду с реальным Робеспьером в сознании всех его современников, *кроме тех, кто сталкивался с ним в правительственных кругах*, существовал легендарный Робеспьер - Робеспьер, которого многие представляли себе; и этот воображаемый Робеспьер, хотя он (или она) оказался одиозным для потомков, при жизни казался самому человеку очаровательным портретом, и поэтому он принял его. Ведь Робеспьеру, хоть и справедливому, не хватало смирения.

Проблема эта не только тонкая, но и чрезвычайно сложная. Историк, читая свои авторитеты, должен постоянно различать сильные и слабые свидетельства, а также возвращать себя к реальности, вспоминая, каким был сам Робеспьер. Если он этого не делает, то сразу же попадает в легенду; так сильна эта легенда в цифрах, которые ее поддерживают, и так сильно сам Робеспьер поддерживал ее своим отношением. Легендарного Робеспьера можно описать в нескольких строках.

Представьте себе человека, искренне убежденного в чистоте демократической теории, человека, который не заботился ни о чем другом, кроме реализации этой теории, и который никогда не жертвовал своим стремлением реализовать ее в государстве ради какой-либо личной выгоды. Этот человек, пользующийся доверием народа и в конце концов ставший его кумиром, становится все более и более могущественным. Он входит в руководящий орган (Комитет общественной безопасности), становится хозяином как в нем, так и вне его, и использует свою власть для создания идеальной демократии, которая признает существование Бога и опирается на гражданскую добродетель; для утверждения этого идеала он прибегает к террору. Он обнаруживает, что отступления людей от его идеала становятся все более многочисленными: он наказывает их смертью. Бойня становится огромной, в нее вовлекаются лучшие демократы; наконец, терпеть это больше нельзя, его непосредственные подчиненные восстают против него в Комитете, он объявляется вне

закона, не может поднять народное восстание в свою пользу в Париже, казнится, и его система террора рушится.

В этой картине, хотя и чисто легендарной по тону, содержится не только много правды, но и правды именно того рода, которая призвана сделать правдоподобным то, что в целом ложно.

Робеспьер был искренне привязан к концепции идеальной демократии; он был неподкупен в стремлении к ней - а быть политиком и быть неподкупным означает нечто подобное тому, что церковь называет героической добродетелью в человеке. Он вошел в Комитет общественной безопасности; *он* поддерживал Террор, и когда его свергли, Террор закончился. В чем же легенда расходится с правдой?

В этих основных пунктах, которые полностью меняют ее: что Робеспьер не был главным влиятельным лицом в Комитете общественной безопасности, *то есть* во всемогущей исполнительной власти Республики; что он не желал Террора, не использовал его, что он даже испытывал отвращение к нему, и что в целом он никогда не был тем человеком, который управлял Францией.

Нет нужды указывать, как такая правда разрушает такую легенду. Весь характер двенадцати месяцев между летом 1793 и летом 1794 года должен меняться в зависимости от того, считаем мы их робеспьеровскими или нет: а они не были робеспьеровскими.

Какими же они были тогда и почему возникла ошибка, что Робеспьер был тогда хозяином?

Те месяцы, которые можно условно назвать месяцами Террора, были, как мы увидим далее в этой книге, месяцами военного положения; а Террор был просто военным положением в действии - методом принуждения к военной обороне страны и наказания всех тех, кто мешал ей или, как предполагал Комитет, мог ей помешать.

Ни один человек в Комитете не был автором этой системы, но тот, кто был наиболее решительно настроен использовать ее и у кого было больше всего поводов для ее применения, был, несомненно, военным организатором Карно. Бок о бок с ним один человек, такой как Баррер, поддерживал ее, потому что она поддерживала Комитет общественной безопасности, который обеспечивал ему все его политическое положение. Другой, например Сен-Жюст, поддерживал ее, потому что верил, что победа в войне (в которой он принимал активное участие) обеспечит демократию везде и навсегда. Другие, такие как Жан Бон, поддерживали его из старой сектантской горечи гугенотов. Но из всех членов Комитета Робеспьер меньше всего поддерживал Террор, и его коллеги подозревали его в желании вмешаться в военную систему Террора и модифицировать ее - и подозревали все чаще.

Почему же Робеспьера в народе отождествляли с Террором и почему, когда он был казнен, Террор прекратился?

Робеспьера отождествляли с Террором, потому что он был отождествлен с народными волнениями того времени, с крайним демократическим чувством того времени и его крайним страхом перед реакцией. Робеспьер, будучи кумиром народа, стал также символом народного безумия, которое должно было править страной. Но это безумие не управляло страной. Страной управлял Комитет общественной безопасности, главным мозгом которого был Карно. Робеспьер действительно был кумиром народных масс, но он ни в коем случае не был проводником их власти или какой бы то ни было власти.

Почему, когда он пал, Террор прекратился, если он не был его автором? Потому что Террор действовал в напряжении; было крайне трудно продолжать эту абсолютную, нетерпимую и невыносимую военную систему, когда страх перед вторжением был снят. За несколько недель до падения Робеспьера победы начали делать его ненужным. Когда Комитет добился того, чтобы Робеспьер был объявлен парламентом вне закона, они, сами того не ведая, выбили краеугольный камень своей политики; именно его популярное положение делало их политику возможной. Когда он был уничтожен, они вдруг обнаружили, что Террор больше не может поддерживаться. Люди терпели его из-за Робеспьера, ошибочно полагая, что Робеспьер желал этого. Робеспьера больше нет, люди больше не будут терпеть.

И наконец, если Робеспьер сам всегда был против системы террора, почему он не возглавил народную реакцию против нее?

Ему предоставил такую возможность Дантон в декабре 1793 года - за семь месяцев до его собственной катастрофы. Комитет решил убрать Дантона с дороги, потому что Дантон, взывая к милосердию, ослаблял военную мощь их правительства. Робеспьер мог спасти Дантона: он предпочел принести его в жертву. Причина заключалась в том, что Робеспьер ошибочно полагал, что популярность на стороне Террора и против Дантона; он ни в коем случае не был лидером (разве что в риторике и в риторике, направленной на то, чего уже желали люди), а его собственной большой слабостью или пороком была любовь к народному признанию.

Позже, летом 1794 года, когда он действительно начал действовать против Террора, он делал это только в частном порядке. Он так плохо понимал людей, что по-прежнему считал Террор популярным и не смел потерять свое популярное имя. Человек по натуре искренний, как хрусталь, он в последние месяцы своей жизни поддался искушению проявить неискренность в этом главном деле, и полностью поддался этому искушению. Для его памяти это было прискорбно, да и для истории тоже. Его слабость стала причиной исторической ошибки, столь же серьезной, как и все, что можно обнаружить в современных письмах, и в то же время полностью опорочила его перед потомками.

Фактор огромного общественного положения Робеспьера, о котором часто забывают, - это огромное влияние его речей. То, что после столь значительных перемен во вкусах люди до сих пор спорят, были ли эти речи красноречивыми или нет, является достаточным доказательством их действенности. Он говорил в упорядоченной и аргументированной манере, которая наскучила прекрасным духам прежних парламентов, но хорошо подходила бурным убеждениям поздней Революции. Его фразеология, его точка зрения просто совпадали с точкой зрения его аудитории. Он мог выразить то, что они чувствовали, и выразить это в терминах, которые они знали точно и которые они считали великими. Его манеры никогда не были чрезмерными, и те чрезмерные люди, которые слышали его в чрезмерном настроении, гордились тем, что их жестокость может быть выражена с такой ученостью и умеренным мастерством.

По рождению он принадлежал к мелкому дворянству, хотя и бедному. О его характере говорит то, что он подумывал о получении орденов и что в ранней юности его охватило литературное тщеславие. Он не оставил после себя памятника, но благодаря глубокой вере и ее исполнению его имя, хотя и вряд ли приумножится, будет жить.

ССЫЛКИ:

[2] Существует лишь одна заслуживающая доверия монография о Марате. Она будет интересна студенту как доказательство энтузиазма, который Марат способен вызвать. Она написана Шампфлери.

IV

ФАЗЫ РЕВОЛЮЦИИ

I

С мая 1789 года по 17 июля 1789 года.

Первое, чего должен придерживаться читатель в истории революции, - это ссора между ее первым парламентом и короной.

Какова была природа этой ссоры?

Это не было, как иногда представляют, простым вопросом между привилегиями и демократическим требованием равенства, или между традиционными органами власти и демократическим требованием самоуправления нации. Воображать это - значит читать историю задом наперед и видеть в неопробованных условиях 1789 года зрелые результаты, которые появились только после многих лет борьбы.

Главный вопрос стоял между законностью и незаконностью.

Формы французского права и все унаследованные методы французского управления требовали определенной формы власти; централизованного правительства с неограниченной властью. Король был абсолютен. От него исходила самая простая воля, которая была главенствующей в государстве. Он мог приостановить обязательства должника, заключить человека в тюрьму без суда и следствия, освободить его без пересмотра дела, заключить войну или мир, а в таких мелких деталях, как дисциплина и управление государственными органами, власть короны теоретически и юридически была одинаково верховной. Она не осуществлялась так, как осуществляется огромная власть современного правительства, она не входила постоянно в каждую деталь жизни бедняков так, как входит в нее власть современного английского правительства; такова уж природа такой самодержавной власти, что, будучи неограниченной в теории, она вынуждена инстинктивно и постоянно самоограничиваться, чтобы не разрушиться; и в этом автократию можно сравнить с аристократией, или, правильнее говоря, с олигархией, правительством немногих: Ибо там, где правят немногие, они знают, что их власть зависит от общественного мнения или общественной терпимости; они очень осторожны, чтобы не выйти за определенные пределы, нарушение которых ослабило бы моральную основу их власти; они приветствуют союзников, они постоянно вербуют себя из других классов общества.

Так и самодержавие всегда стремится быть популярным. Его удары затрагивают великих и могущественных и почти никогда не направлены на массу общества. Интеллектуалы, богатые, привилегированные по рождению, состоянию или исключительным личным способностям, вызывают у него подозрение. Что касается массы людей, то автократия пытается представлять их и, в определенном смысле, подчиняться им.

Французская автократия (а она была не меньше) в начале революции ошиблась не в желании действовать таким образом в интересах народа, а в *знании*, необходимом для этого.

Парламент вскоре после своего заседания в мае 1789 года начал демонстрировать в общинной части работу той великой теории, которая пропитала всю Францию на протяжении целого поколения. Общинники говорили: "Мы - народ; одновременно символы народа, прямые и обязательные слуги народа, и" (хотя это была фикция) "мы из народа по своему рождению и происхождению. Поэтому мы являемся истинными суверенами; а принц, глава исполнительной власти, - не более чем орган правительства, морально менее авторитетный, чем мы сами, которые являются истинным источником правительства". Эта позиция, которая была на задворках сознания всех людей и которая, конечно же, была сосредоточена в Commons, вступала в противоречие с законностью. Она не могла выражаться в терминах закона, она не могла действовать иначе, как *революционно*, в самом строгом смысле этого слова.

Корона, в целом национально сочувствующая и хорошо понимающая эту новую теорию (под короной я подразумеваю общий корпус советников короля и самого короля), была оскорблена незаконностью не теории или притворства (ибо они не были незаконными), а действий общин. И этот сравнительно небольшой источник трений стал тем раздражителем, на котором мы должны остановиться как на причине последующих событий. На следующий день после открытия парламента дворяне 108 голосами против 47 решили заседать отдельной палатой. Духовенство, гораздо меньшим большинством, 133 против 114, пришло к тому же решению, но тщательно оговорило его как временное. Общинники заявили, что зал, в котором они заседали, должен считаться залом Национального собрания, и впоследствии поставили своей задачей (цитируя фразу предложения) "попытаться объединить в этом зале всех депутатов нации и никогда не отказываться от принципа голосования по отдельности" (то есть не отдельными палатами) "или от принципа, что Генеральные штаты образуют одно неразделенное тело". В последующие дни эта позиция была в определенной степени оговорена и скомпрометирована, но она сохранила свою силу, и пока общинники настаивали на этой позиции как на моральном праве, ноблинцы противопоставили ей подтверждение права каждой палаты на отдельное суждение по государственным вопросам. Дворяне опирались на юридический прецедент: в пользу общинников не было ничего, кроме политической теории; если бы ордена заседали все вместе и голосовали как частные лица, то общинники, число которых было равно двум другим палатам вместе взятым, имели бы, с их благородными и клерикальными единомышленниками, большинство.

Теперь король и его советники, в частности Неккер, который все еще имел большой вес, ни в коем случае не были "невозможными" в этой борьбе. Они желали понимания, и в последние дни мая и первые дни июня была предпринята попытка достичь понимания. Но попытка затянулась, и поскольку казалось, что из нее ничего не выйдет, 10 июня Сийес предложил Собранию "проверить свои полномочия" (французское выражение, означающее признание и регистрацию присутствия каждого члена как приемлемого для всего органа и для теории его Конституции), и это должно быть сделано "в случае каждого члена" (имеются в виду члены всех трех орденов, а не только Общины), "независимо от того, присутствуют или отсутствуют члены двух привилегированных палат". Список был составлен и завершен 15-го числа. Никто из дворян не присутствовал на общей перекличке, но трое приходских священников (они были из провинции Пуату) сделали это и тем самым признали право общин действовать таким образом. Позже к ним присоединилась дюжина их коллег, но это было все.

До сих пор не было никаких действий, которые можно было бы назвать незаконными или революционными. Общины подтвердили право, основанное на политической теории, которую признавало подавляющее большинство нации, а законный хранитель власти, король, еще не был осужден. Можно провести параллель и сравнить действия общин с действиями, которые может предпринять, например, профсоюз в Англии; действиями, законность которых сомнительна, но по которым суды еще не приняли решения.

Именно 17 июня, через два дня после завершения голосования в общинах, произошел первый революционный акт, и изучающему революцию будет полезно приложить руку к этой дате и рассматривать ее не как моральное начало движения, а как точный момент, с которого революция, как революция, начинает действовать. Ведь в этот день общинники, хотя на самом деле к ним присоединилась лишь горстка духовенства и никто из дворян, *объявили себя Национальным собранием*, то есть утверждали, что духовенство, дворяне и общинники присутствуют и голосуют вместе. К этому заявлению они добавили определенный акт суверенитета, который посягал на законную власть короны и противоречил ей. Правда, предложение было выдвинуто и принято "временно", но использованные слова были окончательными, поскольку в этом предложении самозванное "Национальное собрание" заявило, что "временно" налоги и сборы могут быть подняты на основании старой власти, но только до тех пор, пока Национальное собрание не разойдется; "После этого дня" - и здесь мы достигаем сакраментальной формулы, так сказать, кризиса - "Национальное собрание *желает и постановляет*, что все налоги и сборы любого характера, которые не были специально официально и свободно разрешены указанным собранием, должны быть прекращены в каждой провинции королевства, независимо от того, как эта провинция может управляться." (Это намек на то, что в одних провинциях существовал представительный аппарат, а в других - только прямые действия короны). "Собрание заявляет, что, когда оно *в согласии* с королем (а не в повиновении ему) установит принцип национального переустройства, оно займется рассмотрением и упорядочением государственного долга". И т. д., и т. п.

Такова была отправная точка, после которой возник спор о суверенитете между Коронай и Генеральными штатами; Корона - известный институт с традициями, восходящими к Римской империи, а Национальное собрание - совершенно новый орган, согласно его собственным заявлениям, основывающий свою власть на политической теории, восходящей к самым истокам человеческого общества.

Два дня спустя, 19 июня, "Национальное собрание", все еще только самопровозглашенное и обладающее лишь теми полномочиями, которые оно приписывало себе вне всякой связи с законом, приступило к работе, назначило свои комитеты и приняло на себя суверенитет, на который оно претендовало. Дворяне протестовали (в частности, епископы), и король, по совету Барентина, хранителя печатей, решил немедленно сопротивление. Под предлогом, что для проведения королевской сессии, на которой король объявит свою волю, необходимо подготовить зал, общинники на следующий день, 20-го числа, явились к дверям этого зала и обнаружили, что они закрыты. Они удалились на соседний теннисный корт и принесли торжественную клятву, что не отделятся, не дав Франции конституции. Они продолжали собираться, используя для этого церковь, но 23-го числа было открыто королевское заседание, и король объявил свою волю.

Читатель должен особо отметить, что даже в этом кризисе корона не оказала полного сопротивления. Была предпринята попытка компромисса. Неккер хотел более или менее полной капитуляции, королева и ее окружение предпочли бы акт власти, который должен был аннулировать все, что сделали общины. На деле же произошло разрешение короны на

то, чтобы три ордена собирались как единый орган для решения определенных общих задач, но сохраняли систему голосования как отдельные палаты "во всем, что касается древних и конституционных прав трех орденов, конституции, которая будет дана будущим парламентам, феодальной собственности, а также прав и прерогатив двух старших палат". В качестве простого численного теста такой вывод уничтожил бы власть общин, поскольку, как мы видели, численность была оружием общин, которые были равны двум другим палатам вместе взятым, и если бы все заседали вместе, то вместе с либеральными представителями духовенства и дворянства были бы верховными. Но помимо этого численного теста, акт суверенитета, подтвержденный Национальным собранием, когда оно объявило себя и только себя правомочным голосовать по налогам, был аннулирован. Более того, королевская декларация заканчивалась приказом о том, что на следующий день три ордена должны собраться отдельно.

И вот в этот критический момент короля послушали. Течение времени выбрало революционное русло и, начав течь, с каждым днем и событием углубляло и подтверждало свой курс. Уже большинство духовенства присоединилось к Национальному собранию, когда оно подтвердило свое право заседать вопреки шаху 20 июня. В тот решающий день королевской сессии, 23 июня, было полчаса, когда можно было применить вооруженную силу для ареста и разгона депутатов. Они объявили себя неприкосновенными, а свой арест незаконным, но, разумеется, не было никакой санкции на этот декрет. Фактически против них не было применено ни одного капрала. На следующий день, 24-го, большинство духовенства вновь присоединилось к общинам на их заседании (вопреки приказу короля), а 25-го их примеру последовали сорок семь дворян. Король уступил и 27-го, через два дня, приказал трем палатам собраться вместе.

Теперь Национальное собрание было сформировано на законных основаниях и отправилось в путь. Корона, старый центр власти, отказалась от своих позиций и подтвердила Революцию, но при этом она действовала как бы в противоречии с самой собой. Она сделала технически законным незаконное действие, которое разрушило ее собственную старую правовую позицию, но сделала это с недоброй волей, и было очевидно, что будет предпринят какой-то ответный удар, чтобы восстановить все полномочия короны.

В этот момент читатель должен понять, какие силы столкнулись в предстоящей борьбе. До сих пор незаконный и революционный акт от 17 июня, королевская сессия, ответившая на этот акт 23-го числа, декрет короля, уступивший общинам 27-го числа, - все это были лишь слова. Если же дело доходило до действий, то какие физические силы противостояли им?

На стороне короны была организованная вооруженная сила, которой она командовала. Не следует забывать, что корона была исполнительной властью и оставалась ею вплоть до взятия дворца три года спустя и завершения революции 10 августа 1792 года. На стороне Национального собрания, несомненно, было общественное мнение страны (но это не та сила, которую можно использовать под оружием), и, что было гораздо важнее, муниципальная организация Франции.

Пространство не позволяет полностью описать происхождение и силу французской муниципальной системы; достаточно отметить, что вся галльская цивилизация, вероятно, с момента, предшествовавшего вторжению Сезара, и, конечно, с того момента, когда римское правление стало главным в Галлии, была *муниципальной*. Так происходит и сейчас. Деревни получили свои названия в основном от главных городов. Города были резиденциями епископов, чья иерархия сохранила все, что могло сохраниться от античного мира. В городах находились колледжи, гильдии, дискуссии и корпорации, на которых строилась жизнь

нации. Главным из этих городов был Париж. Старые системы муниципального управления, как бы коррумпированы и разнообразны они ни были, все еще могли дать городам силу корпоративного выражения. И даже там, где ее не хватало, можно было с уверенностью сказать, что найдется какой-нибудь двигатель для выражения действий муниципалитета в условиях кризиса, через который сейчас проходила Франция. В Париже, например, когда пришло время применить физическую силу, было видно, что Коллегия выборщиков, избравшая представителей от этого города, готова сразу и спонтанно выступить в качестве муниципального органа, который должен выразить инициативу народа. Именно города, и особенно Париж, готовые к спонтанной организации, готовые вооружиться, а вооружившись, создать боевую силу, были физической силой, стоящей за Собранием.

Что же касается физической силы короля? Его силой, как мы уже говорили, были регулярные вооруженные силы страны - армия. Но характерно, что в тот момент можно было доверять лишь части этих вооруженных сил. Ведь армия - это не просто оружие: она состоит из живых людей; и хотя она действовать вопреки общему мнению своих членов и подчиняться приказам долгое время после того, как гражданские лица порвали бы с техническими и юридическими узами власти, для армий также существует точка разрыва в этих узах, и Корона, повторяю, не могла использовать всю франкоязычную и французскую по происхождению армию. К счастью для нее, очень большая часть французской армии в тот момент состояла из иностранных наемников.

Поскольку положение было фактически военным, мы должны рассмотреть, какова была стратегическая цель этих сил. Его целью был Париж, главный из городов; и вокруг Парижа в первых числах июля со всех сторон были собраны полки наемников. Когда военная концентрация была достигнута, ворота города удерживались, особенно с севера и запада, полками, стоявшими в лагере, и особенно крупными силами кавалерии (всегда выбранной для подавления гражданских лиц), корона была готова действовать.

11 июля Неккер, отстаивавший либеральные взгляды, был отправлен в отставку. Было сформировано новое министерство, и началась контрреволюция. За этим последовало немедленное восстание в Париже.

Весть об отставке Неккера достигла масс столицы (всего в часе езды от Версаля) во второй половине дня 12-го, в воскресенье. Начали собираться толпы; безрезультатная кавалерийская атака на одном из открытых пространств города только подогрела народный энтузиазм, поскольку атаковавшие солдаты были немецкими наемниками под командованием дворянина. Сразу же были организованы общественные силы, оружие было захвачено в оружейных мастерских, коллегия выборщиков, которая выбирала членов Парижского собрания, приняла командование в зале Гильдии, но главным моментом восстания - тем, что сделало его возможным - был захват большого запаса оружия и боеприпасов, включая пушки, на складе в Инвалидах.

С такими ресурсами толпа атаковала на другом конце города крепость и арсенал, которые долгое время были символом абсолютной монархии, - Бастилию. Нелепо недостаточный гарнизон Бастилии, ее очевидная неприступность для всех попыток толпы, предполагаемая, но сомнительная измена ее губернатора, открывшего огонь по тем, кого он допустил к переговорам, нас здесь не касаются. Бастилия была взята после значительных усилий и ощутимых потерь в убитых и раненых. К вечеру того же дня, вторника, 14 июля 1789 года, Париж превратился в грозное орудие войны. Следующей новостью стала полная капитуляция короля.

На следующий день он явился в Национальное собрание, пообещав отослать войска; он обещал отозвать Неккера; городу была предоставлена муниципальная организация, первым мэром которой стал Бейли, и - что имеет огромное значение - было законно сформировано вооруженное ополчение, зависящее от этого муниципалитета, во главе которого стоял Ла Файет. 17-го числа Людовик въехал в Париж, чтобы завершить капитуляцию, отправился в зал Гильдии, появился в трехцветной кокарде, и народная битва была выиграна.

Здесь нам следует рассмотреть военный аспект этого решающего акта, от которого берет начало санкция Революции, ее физическая сила.

Париж насчитывал чуть меньше миллиона душ: возможно, не более 600 000: число колебалось в зависимости от времени года. Иностранцев наемных войск, которые в основном использовались для подавления народных чувств, было недостаточно для осады. Они могли остановить снабжение города через различные ворота, но затем в любом из этих отдельных пунктов любой из их отрядов на длинном периметре более чем дневного марша в окрестности был бы непременно атакован и почти так же непременно подавлен массами частично вооруженных гражданских лиц.

Можно ли было очистить улицы, пока поднималось брожение? Очень сомнительно. Они были очень узкими и извилистыми, площадь, которую нужно было обработать, была огромной, традиция баррикад не была забыта, а спонтанные действия того превосходного боевого материала, который содержит парижская толпа, были столь же быстрыми, как и все, что могло быть осуществлено с помощью военных приказов.

Единственной большой ошибкой было пренебрежение прикрытием Инвалидов, но даже если бы Инвалиды не были разграблены, запасов оружия и пороха в городе хватило бы для организации отчаянного и длительного сопротивления. Местные вспомогательные силы (правда, малопригодные в военном отношении), "французские гвардейцы", как их называли, были полностью на стороне народа. И вообще, корона должна быть оправдана за все значительные просчеты в военной стороне этой борьбы. Она, конечно, потерпела неудачу не из-за отсутствия воли.

Правда в том (если рассматривать только военный аспект этого военного события), что, имея дело с большими массами людей, которые (а) не были предварительно разоружены, (б) находятся в условиях, когда их нельзя рассредоточить, и (в) способны в силу национальной традиции или характера к какой-то быстрой, спонтанной организации, вопрос всегда будет сомнительным, а неопределенный фактор (а это стойкость, решение и общая воля гражданских лиц, которым должны противостоять солдаты) варьируется в самых широких пределах.

При первоначальном формировании войск корона и ее советники оценили этот фактор неопределенности слишком низко. Даже современное образованное мнение, которое симпатизировало Парижу, оценило его слишком низко. На самом деле этот фактор был настолько высок, что никакие вооруженные силы такого размера и качества, которыми располагала корона, не могли достичь своей цели или удержать столицу.

Что касается абсурдной концепции о том, что любое тело людей в форме, каким бы маленьким оно ни было, всегда может одержать верх над гражданским сопротивлением, каким бы большим и хорошо организованным оно ни было, то она не заслуживает ни минуты внимания тех, кто интересуется реалиями военной истории. Это достойно только академий.

Так закончился первый этап революции. Он длился с момента открытия Генеральных штатов в мае до середины июля 1789 года.

II

С 17 июля 1789 года по 6 октября 1789 года.

Мы видели военные условия, при которых попытка вооруженной контрреволюции провалилась. Далее следует короткий этап продолжительностью менее трех месяцев, характер которого можно описать вкратце.

Это был тот момент революции, когда идеи имели самую свободную игру, когда меньше всего было сделано для проверки их применения, и больше всего оставалось места для чистого энтузиазма. Вот почему в середине этой короткой фазы мы находим спонтанный отказ дворянства от феодальных прав. И именно поэтому по всей Франции продолжались бурные восстания. Именно в этот период была обнародована Декларация прав человека и гражданина - документ, который по праву может стоять в одном ряду с Декларацией независимости (ведь вместе они являются самыми благородными памятниками нашего современного происхождения). В тот же период были быстро обсуждены и заложены элементы будущей Конституции, в частности, та национальная политика *единой палаты*, от которой современные французы неосмотрительно отказались. В этот же период, однако, возникла, а ближе к концу его, еще одна форма сопротивления со стороны короны и тех, кто ее консультировал. Король не решался принять Декларацию прав человека, и так же не решался обнародовать указ от 4 августа, в котором дворяне отказывались от своих феодальных повинностей. Было бы глупо преувеличивать военный аспект того, что за этим последовало. Людовик действительно призвал войска, но только в количестве, достаточном для личной защиты, и мы вряд ли можем поверить, что он намеревался сделать что-то большее, чем охранять окрестности своего трона. Но и вызванной им бригады (ибо она была не больше и не в полном составе) было достаточно, чтобы возбудить подозрения; а решительно ложная позиция королевы (которую всю жизнь преследовала мысль, что регулярные солдаты, особенно если они хорошо одеты и держат себя строго, являются своего рода талисманами) вызвала взрыв. Был дан пир, на котором офицеров Фландрского полка, только что прибывшего в Версаль, развлекали гвардейцы. Это послужило поводом для большого количества пьянства и бурных проявлений роялизма, на которых присутствовала королева, которые она одобрила и которые, как некоторые считают, были ею задуманы.

Неурожай не помог облегчить нехватку хлеба в Париже, постоянное состояние тревоги, в котором пребывал Париж, и подозрения в безопасности парламента, которые он постоянно испытывал с начала лета, не требовали большего, чтобы спровоцировать вспышку. Ошибочно полагать, что эта вспышка была спровоцирована или что такое движение могло быть сфабриковано. Огромные массы женщин (в которых и зародилось движение), а за ними и целые потоки населения, двинулись на Версаль.

Прямого нападения на дворец не было, хотя дворец опасался такого нападения в любой момент. Присутствовавших войск было достаточно, чтобы предотвратить насилие.

Ла Файетт последовал за ним ночью во главе своего нового отряда парижского ополчения.

Слишком много полагались на военный характер этих сил; ранним утром во дворец ворвались, попытка убийства королевы со стороны толпы провалилась, хотя двое гвардейцев были убиты. После сцен насилия и явной анархии, за которыми скрывалась лишь общая решимость народа, королевская семья была вынуждена покинуть Версаль и занять свое

место в Тюильри; парламент последовал за ними в Париж, и ни король, ни парламент больше не вернулись в пригородный дворец.

Это возвращение короля в Париж гораздо более значимо, чем простое побуждение толпы. Король в Париже, единение его персоны со столицей, на протяжении столетия было таинством французской жизни. Прошло ровно сто лет с тех пор, как Людовик XIV отказался от Парижа в пользу Версаля. Значение этой ошибки могут понять граждане аристократических стран, если они представят себе, как покидают свои сельские угодья сквайры, или, опять же, будущий историк нашей современной индустриальной цивилизации может понять ее, когда опишет, как богатые промышленники покидают города, в которых нажили свои богатства, чтобы жить вне и в стороне от живых интересов своего народа.

С возвращением королевской семьи в Париж и присутствием Ассамблеи в самом центре национальной жизни появляется один главный фактор, который заключается в том, что в то время как Национальная Ассамблея шаг за шагом продвигается к тому, что она представляет себе как полное достижение демократии (хотя насколько частичное, скоро будет видно), сопротивление Короны превращается в сопротивление простого двора. Атака на Революцию становится личным делом. Король все еще остается полностью главой исполнительной власти; он может отдавать вооруженным силам любые приказы; он контролирует поступления и платежи; он является правительством во всех активных целях. Но он больше не рассматривает эту свою главную функцию и даже не использует ее для восстановления своей прежней власти. Отныне он действует как частное лицо, причем лицо, находящееся в опасности. Королева, чей взгляд на Революцию и ее опасности всегда был сугубо личным, с этого момента, октября 1789 года, и далее является руководящей волей в придворной группе; и главной заботой этой группы в течение восемнадцати месяцев является личная безопасность. В окружении пышности Тюильри и при всей внешней видимости власти, превосходящей власть любого другого монарха в Европе, Людовик и его жена, а также их немногие ближайшие и преданные друзья и последователи считали дворец тюрьмой и никогда не рассматривали свое положение иначе как невыносимое.

III

С октября 1789 по июнь 1791 года.

Именно этим следует объяснить все, что последовало за последующим этапом, который длился с первых дней октября 1789 года до последней недели июня 1791 года. На протяжении двадцати одного месяца король позволяет Революции идти своим чередом, с твердой мыслью в конце концов помешать ей, бежав от нее, и, возможно, покорить ее с помощью иностранной помощи. Но даже эта политика не проводится последовательно. Растущее отвращение двора и самого короля к революционному развитию не позволяет последовательно и чисто лицемерно принимать декреты Национального собрания.

Преднамеренная и рассчитанная интрига еще могла спасти монархию и лица королевской семьи. Как ни странно, но союзник в борьбе, превосходный интриган, спаситель монархического института и истинный защитник королевских особ оказался под рукой: им стал Мирабо.

Этот человек все больше и больше доминировал в Собрании; он был замечен с первых дней его работы; он был его голосом в сопротивлении королю в Версале; именно он ответил 23 июня церемониймейстеру, что общины не разойдутся; именно он добился того, чтобы лица общин были защищены от ареста. Он принадлежал к знатному роду, известному в народе богатством и эксцентричностью своего главы, отца Мирабо. Сам он еще до начала

революции был небезызвестен своими жестокостями, похождениями, умом и долгами. Он был на несколько лет старше короля и королевы: его личность отталкивала их; тем не менее его желание служить им было искренним, и он планировал, сохраняя большую власть над Национальным собранием, которую обеспечивали ему его риторика и использование людей, давать двору и особенно королеве, которой он очень сильно и почти благоговейно восхищался, такие тайные советы, которые могли бы спасти их. Эти советы, как мы увидим через некоторое время, все больше и больше склонялись к гражданской войне. Но смерть Мирабо в конце того этапа, в который мы сейчас вступаем (2 апреля 1791 года), и растущие страхи короля и королевы между собой препятствовали какой-либо государственной деятельности вообще; они препятствовали даже государственной деятельности интриг; И период стал, со стороны Революции, быстрым и неконтролируемым развитием ее демократической теории (ограниченной нерешительностью среднего класса), а со стороны Двора - растущим требованием простой физической безопасности и бегства, в сочетании с растущей решимостью вернуться и восстановить в качестве народной монархии схему прошлого.

Восемнадцать месяцев, прошедшие между фиксацией Собрания и королевской семьи в Париже и смертью Мирабо, примечательны следующими моментами, которые необходимо рассматривать одновременно, если мы хотим понять их совокупное влияние.

1. Это был период, когда была проделана конструктивная работа Национального собрания и когда изменилось все лицо нации. Совещательные органы юристов, называемые "парламентами", были упразднены (через одиннадцать месяцев после приезда короля в Париж), на месте старых провинций были организованы современные департаменты, старое национальное и провинциальное ополчение было уничтожено, но (что очень важно помнить) *старая регулярная армия осталась нетронутой*. Была создана новая судебная система и новые правила судопроизводства. Новый кодекс был набросан на месте сумбура "Общего права". Одним словом, это был период, когда большинство из тех вещей, которые мы считаем характерными для революционной работы, были либо доведены до теоретического завершения, либо получили, по крайней мере, свои основные направления.

2. Среди этих конструктивных актов, но настолько важных, что их следует рассматривать отдельно, была Гражданская конституция духовенства, которая будет подробно рассмотрена далее в этой книге; это была главная работа (и главная ошибка) тех полутора лет.

3. Общий дух Революции, который труднее определить, чем ее теорию, но который легко оценить, следя за развитием движения, регулярно и в огромной степени усиливался в течение этого периода. Власть короля, который все еще возглавлял исполнительную власть, все больше и больше действовала как раздражитель против общественного мнения, и...

4. Общественное мнение стало выражаться централизованно и общенационально, ядром и символом которого стала Великая федерация 14 июля 1790 года в Париже, в годовщину падения Бастилии. Эта федерация состояла из делегатов Национальной гвардии по всей стране, и она имела огромное значение: она привнесла в революционное движение такую черту солдатского характера, которая сделала даже регулярные войска в большинстве своем сочувствующими энтузиазму того времени.

5. Эти восемнадцать месяцев снова были наполнены движением "Эмиграции". Это движение, конечно же, означало отъезд из Франции многих видных представителей привилегированных орденов и толпы более скромных дворян, а также нескольких церковников. Братья короля (один из них бежал в начале эмиграции, младший, граф д'Артуа; другой, старший, - в ее конце, что совпало с бегством короля) должны быть особенно

отмечены в этой связи; они образовали в компании с более известными из других эмигрантов регулярный политический орган, который постоянно интриговал за границей, в Германии и Италии, против Революции. И -.

6. Поэтому именно в эти месяцы следует искать истоки большой европейской войны. Вооруженный корпус эмигрантов под командованием Конде сформировал организованный корпус на Рейне, и хотя в Европе еще не было и подобия вооруженного движения, кроме их движения против французов, *эмигранты*, как их называли, посеяли семена, урожаем которых стала война 1792 года.

Я уже говорил, что в эти месяцы, когда была проделана большая часть конструктивной работы революции, когда были посеяны семена великой войны и когда абсолютное положение короны как главы исполнительной власти все больше раздражало общественное мнение французов и особенно столицы, Мирабо был единственным человеком, который мог сохранить преемственность национальных институтов путем сохранения монархии. Он получал деньги от двора и взамен давал ему советы. Советы были гениальными, но к ним прислушивались все меньше и меньше по мере того, как они становились все более и более практичными. Мирабо также выступал за оставление Парижа королем, но он хотел, чтобы король покинул Париж открыто и с вооруженными силами, удалился в соседний и лояльный центр, такой как Компьень, и там зависел от удачи гражданской войны.

Тем временем королева была настроена на совершенно иной и гораздо более личный план, в который не вписывались никакие представления о государственном устройстве. Она была полна решимости спасти своих детей, себя и своего мужа. Планы бегства разрабатывались, откладывались и вновь откладывались. При дворе уже было решено, что следует придерживаться не плана Мирабо, а плана простого уклонения. Армия, которой Буйе командовал на границе, должна была отправить небольшие отряды вдоль большой дороги из Парижа на восток; первые из них должны были встретить королевских беглецов немного дальше Шалона и сопроводить их карету на восток; каждый вооруженный отряд в цепи, по мере бегства, должен был встать на защиту, пока, достигнув города Варенн, король и королева не соединятся с основной частью армии.

Что должно было последовать за этим, остается неясным. Совершенно точно, что король не собирался переходить границу, а хотел укрыться в Монмеди. Конфликт, который неизбежно разразился бы, вряд ли мог ограничиться гражданской войной: иностранные армии и немецкие наемники на французской службе должны были быть организованы, в случае успеха бегства, для похода на Париж и полного восстановления прежнего положения вещей.

Если бы Мирабо был жив, этого опрометчивого и неконструктивного плана можно было бы избежать; так случилось, что он умер 2 апреля 1791 года, и вскоре после этого мы вступаем в третью фазу Революции, которая ведет непосредственно к великой войне и падению монархии.

Вскоре после смерти Мирабо начались беспорядки, которые чрезмерно напугали королевскую семью, помешали королю и королеве покинуть дворец и отпраздновать Пасху в Сен-Клу, в пригороде. Хотя затем последовали новые отсрочки их бегства, на самом деле побег состоялся в ночь с 20 на 21 июня. Оно почти удалось, но в результате ряда мелких происшествий, последнее из которых, знаменитая поездка Друэ на перехват беглецов, является одним из самых известных эпизодов в истории, король и королева с детьми были обнаружены и арестованы в Варенне, в нескольких сотнях ярдов от безопасного места, и возвращены в Париж, окруженные огромной и враждебной толпой. С провалом этой попытки бегства в конце июня 1791 года заканчивается третий этап Революции.

IV

С июня 1791 года по сентябрь 1792 года.

Чтобы понять капитальный эффект как этого бегства, так и его неудачи, мы должны еще раз подчеркнуть верховное положение монархии в традициях и инстинктах французского государственного устройства. Неразумность бегства трудно преувеличить: невозможно преувеличить моральную революцию, вызванную его провалом. Оно было расценено как фактически отречение от престола. Мощный корпус провинциального, молчаливого и умеренного мнения, которое все еще было сосредоточено на короле и считало его функцией руководить и управлять, был обескуражен и, в основном, в будущем отделился от короны.

Прекрасным доказательством того, чем монархия так долго была для Франции, является то, что даже в такой кризис едва ли упоминалось название "республика", да и то лишь в интеллектуальных кругах Парижа. Все конституционные и постоянные силы общества сговорились сохранить монархию за счет каких бы то ни было фикций. Гвардия среднего класса под командованием Ла Файетта подавила зачатки народного движения, известные как резня на Марсовом поле. Более радикальные лидеры (среди которых был Дантон) бежали за границу или скрывались. Герцогу Орлеанскому совершенно не удалось воспользоваться моментом и провозгласить себя регентом: монархические традиции были слишком сильны.

Сразу же после второй годовщины взятия Бастилии, в июле, декреты парламента создали фикцию, что король не несет ответственности за бегство, что его "унесли", а в сентябре следующего года, хотя до этого момента он был отстранен от исполнительной власти, король, принеся присягу на Конституции, снова оказался во главе всех сил нации.

Но все это латание и восстановление фасада конституционной монархии (фикция, безвкусица которой оскорбляет французский нрав больше, чем ее фальшь) произошло слишком поздно. Королева уже написала своему брату, императору Австрии, письмо с предложением мобилизовать значительные силы и расположить их лагерем на границе, чтобы подавить революционное движение. Ее действия совпали через несколько дней с окончанием работы великого парламента, избранного на основе самого демократического избирательного права, который преобразовал все общество и заложил основу революционной конституции. С заседанием преемника Национального собрания 1 октября 1791 года война уже была возможна; эта возможность очень скоро должна была превратиться в вероятность и, наконец, в действительность.

В новом парламенте вес, не численность, а лидерство, перешел к группе энтузиастов и красноречивых людей, которые, благодаря тому, что некоторые из их главных членов были родом из Жиронды, получили название *жирондистов*. Они представляли собой самый чистый и самый восторженный идеал демократии, менее национальный, возможно, чем тот, который отстаивали люди более крайние, чем они, но такого рода, который с того времени и по сей день способен вызывать энтузиазм историков.

Верньо и Иснар были их великими ораторами, Бриссо - их интеллектуальным интриганом, а жена Роланда, одного из их членов, была, как бы, душой всей группы. Именно тот факт, что эти люди желали войны, сделал ее несомненной, как только почувствовался нрав этого нового второго собрания.

Противостоящие им экстремисты, о которых я уже упоминал (известные как "Гора"), были особенно парижскими по характеру. Робеспьер, который был сначала неясным, а затем сектантским оратором Национального собрания, хотя и не заседал в этом втором парламенте, был, пожалуй, самой выдающейся фигурой в этой группе, поскольку он был

публичным оратором Парижа; и действительно, Гора была Парижем; Париж, будь то внутри или вне парламента; Париж действовал как ответственный мозг Франции. Впоследствии именно Гора (которая первой выступила против войны) должна была обеспечить успех французского оружия, проявив жесткость и деспотизм в действиях, к которым питали отвращение более чистые и менее практичные умы жирондистов.

3 декабря 1791 года (это основополагающая дата в стремительном продвижении к войне, которая должна была преобразовать Революцию) король, написав письмо, которое выдавало диктовку его жены, умолял короля Пруссии (как *она* умоляла императора) мобилизовать вооруженные силы и вместе с ними поддержать конгресс, целью которого должно было стать предотвращение распространения Революции. Это письмо было типичным для того момента. Напряжение с обеих сторон быстро доходило до предела. Напряжение не ограничивалось общими словами. Революция нарушила европейский договор, аннексировав Авиньонское папское государство, и она нарушила европейские конвенции, отменив в Эльзасе феодальные права, которыми обладали князья империи. Это было похоже на то, как если бы какое-нибудь государство в наши дни, пытаясь установить коллективизм, конфисковало бы вместе с прочей собственностью ценные бумаги, лежащие в его банках, но принадлежащие гражданам иностранного государства.

С революционной стороны также существовал определенный спорный момент - разрешение, данное в пределах империи эмигрантам собираться с оружием в руках и угрожать французской границе.

Но эти точные и юридические моменты не были истинными причинами войны. Истинными причинами войны были желание нереформированных европейских правительств (прежде всего Пруссии и Австрии) остановить революцию в своих собственных интересах и убежденность в том, что их вооруженные силы легко способны уничтожить новый французский *режим*.

Венский двор отказался принять справедливую компенсацию, предложенную князьям империи в Эльзасе за потерю их старых феодальных прав; Леопольд, император, принадлежавший к тому же поколению, что и французские король и королева, умер 1 марта 1792 года, и его сменил сын, которому было всего двадцать четыре года и которого легко было склонить к войне.

На французской стороне, за исключением Горы и, в частности, Робеспьера, существовала любопытная коалиция мнений, требовавших войны.

Двор и реакционеры были достаточно уверены в победе союзников, чтобы найти свое спасение в войне.

Революционная партия, то есть масса общественного мнения и "патриоты", как они себя называли, жирондисты, также, и особенно, желали войны как своего рода крестового похода революции; они страдали от тяжких иллюзий, как всегда должны страдать энтузиасты, и верили, что французские вооруженные силы способны выдержать удар. Планы кампании уже были разработаны (и быстро переданы королевой врагу); Дюмурье, отличный солдат, с середины марта 1792 года был главным человеком в министерстве и директором иностранных дел, а месяцем позже, 20 апреля, была объявлена война против Австрии, или, если быть точным, против "короля Венгрии и Богемии".

Таков был официальный титул племянника Марии-Антуанетты, который, хотя и стал наследником империи, еще не был коронован как император. Предполагалось, что война

ограничиться этим монархом, и, действительно, немецкие принцы империи не присоединились к нему (исключение составил ландграф Гессен-Кассельский). Но единственная немецкая держава, которая имела наибольшее значение, - королевство Пруссия, которое Дюмурье особенно надеялся сохранить нейтральным, - объединилась с Австрией. Королевские письма сделали свое дело.

В этот критический момент французские вооруженные силы и французские крепости находились в самом худшем состоянии. Дисциплина в армии была плачевной. Регулярные солдаты старого *режима* потеряли от шести до девяти тысяч офицеров в результате эмиграции и смешивались с революционными добровольцами, призванными в ряды армии (в количестве более двухсот батальонов), не лучше воды и масла; кроме того, эти добровольческие батальоны в большинстве своем были плохо обеспечены, гораздо ниже своего штата, некоторые существовали только на бумаге; ни один из них не был обучен так, как должны быть обучены солдаты. В более упорядоченное время, когда декреты правительства соответствовали реальности, границу удерживали бы четыреста тысяч человек; такое количество было в счете. В действительности же от Швейцарских гор до Ла-Манша французы могли рассчитывать не более чем на *пятую часть* от этого числа. Только под оружием находилось восемьдесят тысяч человек. Прусская армия в полном составе, не считая союзников, была почти втрое больше этой дезорганизованной и недостаточной силы.

Паника, одновременно нелепая и трагическая, открыла кампанию на французской стороне. Король воспользовался ими, чтобы отправить в отставку жирондистское министерство и сформировать реакционное правительство. Парламент ответил на это мерами, бесполезными для ведения войны и направленными лишь на то, чтобы разозлить корону, которая предавала нацию. Он приказал уволить королевскую гвардию, сформировать лагерь революционных федералов под Парижем, вывезти ортодоксальных священников; руководствуясь решимостью двора сопротивляться Собранию и ждать победы союзников, Людовик наложил вето на два последних декрета. Ла Файет, который теперь командовал армией центра со штаб-квартирой в Седане, расположенном прямо на пути вторжения, выступил в поддержку короля.

Если бы в этот момент армии Австрии и Пруссии действовали с быстротой, Революции пришел бы конец. Как бы то ни было, мобилизация была медленной, а их марш, хотя и точный, неторопливым. Это дало время населению Парижа выйти на демонстрацию против дворца и королевской семьи 20 июня. Только в первых числах августа основные силы объединенных монархов под главнокомандованием герцога Брауншвейгского (имевшего репутацию лучшего генерала своего времени) отправились в поход на Париж. Только 23 августа захватчики взяли первый пограничный французский город Лонгви.

Тем временем два очень важных события придали французам, несмотря на жалкую недостаточность их вооруженных сил, интенсивность чувств, которые хоть как-то компенсировали эту недостаточность. Во-первых, в третью годовщину падения Бастилии, 14 июля, в Париж съехались делегации из всех провинций, многие из которых были вооружены; это придало национальному чувству единство. Во-вторых, 25 июля того же года Брауншвейг издал из Кобленца, который был его базой, манифест, который был известен в Париже три дня спустя и который (хотя некоторые современные историки подвергают это сомнению), несомненно, воспламенил революционное мнение.

Этот манифест требовал от имени союзной армии полного восстановления старого *режима*, заявлял, что относится к французам и их новым властям как к мятежникам, подлежащим

военной казни, и содержал пункт особой серьезности, вызвавший немедленную и возмущенную реакцию Парижа. Авторство этого пункта принадлежало Марии Антуанетте, и в нем содержалась угроза, в случае нападения на дворец, отдать столицу под военные казни и полное ниспровержение.

Через два дня в город вошли марсельские федералы, представители среднего класса, отличные граждане, хотя и малочисленные и любители солдатского дела. Их маршевая песня стала знаменитой под названием "Марсельеза". Они совершили удивительный подвиг - пересекли Францию, таща за собой пушки, со скоростью восемнадцать миль в день, в разгар знойного лета, в течение почти месяца подряд. В истории войны нет аналогов подобным усилиям, и современное мнение не преувеличивало, когда видело в марсельском батальоне центр грядущей битвы.

Удар между дворцом и населением был нанесен утром 10 августа. Дворец удерживали около шести тысяч человек,^[3] из которых около двенадцатисот были регулярными солдатами Швейцарской гвардии. Дворец (Тюильри) был или должен был быть неприступным. Народная атака, мы можем быть уверены, была бы отбита, если бы связь между Тюильри и Лувром на юге была должным образом перерезана. Настил действительно был снят в этом месте на некоторое расстояние, но либо щель была недостаточно широкой, либо пост недостаточно охранялся; народные массы и федералы, сильно потрепанные в своей главной атаке на длинный фронт дворца, сумели повернуть его фланг, где он соединялся с Лувром; таким образом они анфилировали апартаменты комнат и полностью положили конец сопротивлению его гарнизона.

Тем временем король и королева, дофин и его младшая сестра, а также другие члены королевской семьи укрылись на время боев в зале парламента.

После победы народных масс их судьба была обсуждена и решена; они были заключены в башню Тампл, средневековую крепость, все еще стоящую на северо-востоке Парижа, и хотя монархия еще не была формально упразднена, самые крайние и энергичные духи Революции заняли место старой исполнительной власти, с Дантоном во главе. Вместе с ними в правительстве появился дух военных действий, презрение к формам и быстрота решений. Известные пособники сторонников сопротивления двора и союза с захватчиками арестовывались сотнями. Запись добровольцев, и без того воодушевленная по всей Франции, была поддержана с новой силой официальной помощью; и Революция, оставив все свои старые устои, сразу же вступила в крайнюю фазу. В тот же момент граница была пересечена, а 19 августа произошло вторжение на национальную территорию.

Возможно, что промедление пруссаков до этого момента было просчитано, так как положение во Франции было сложным, и решение воевать было принято с опозданием. По-видимому, именно известие о падении дворца стало для них решающим. Место, как и дата этого тяжелого события, заслуживает большей известности, чем оно есть. Брауншвейг коснулся земли, которая тогда была французской, в том маленьком треугольнике, где сейчас встречаются немецкая и французская Лотарингия и Люксембург. Деревня называется Реданж: отсюда привилегированные европейцы отправились в Париж, чтобы уничтожить демократию. Первая задача занимала их целых двадцать два года, над второй они трудятся до сих пор.

Те силы, которые французы смогли выставить против Брунсвика, были презрительно отброшены. Через четыре дня он, как мы уже видели, взял пограничную крепость Лонгви; через неделю он был перед Верденом.

У Вердена не было ни шансов на сопротивление, ни гарнизона, который можно было бы назвать гарнизоном, ни возможности для обороны. Весть о том, что он должен пасть, достигла Парижа утром роковой даты, 2 сентября; после его падения между ним и столицей не будет ничего; с этого момента весь характер Революции полностью меняется под влиянием психологического эффекта войны.

V

От вторжения в сентябре 1792 года до создания Комитета общественной безопасности, апрель 1793 года.

Пятый этап Французской революции, можно сказать, начинается с первых дней сентября 1792 года, когда весть об успешном вторжении ошеломила Париж и когда революционная исполнительная власть, созданная на развалинах старой мертвой монархии и по ее образу и подобию, прочно держалась в седле, вплоть до учреждения еще более монархического "Комитета общественной безопасности", семь месяцев спустя. Эти семь месяцев можно охарактеризовать следующим образом.

Это был период, в течение которого была предпринята попытка вести революционную войну против правительств Европы на демократических принципах. Попытка провалилась. Вместо дисциплины, понимания и предусмотрительности победа зависела от подъема и сильного энтузиазма момента. Чистый идеал фракции жирондистов с образцовой республикой, которую она надеялась установить, оказался совершенно недостаточным для ведения войны; и чтобы спасти нацию от иностранного завоевания, а великий демократический эксперимент Революции от катастрофы, было необходимо, чтобы военная и дисциплинированная сторона французов, со всей тиранией, которая сопровождает этот аспект их национального гения, взяла на себя завершение авантюры.

Этот период начинается с так называемой сентябрьской резни. На одной из предыдущих страниц я уже говорил, что "известные сообщники и сторонники союза двора с захватчиками были арестованы сотнями" после падения дворца и создания революционной исполнительной власти с Дантоном во главе.

Эти заключенные, скопившиеся в тюрьмах города, были уничтожены в количестве одиннадцатисот человек небольшой, но организованной бандой убийц в те дни, когда известие о падении Вердена ожидалось и достигло столицы. Такое преступление потрясло общественное сознание Европы и французского народа. Его нельзя путать ни с судебными и военными актами Террора, ни с репрессиями, предпринятыми против мятежников, ни с грубыми эксцессами толпы; ведь хотя в некоторых первичных собраниях и раздавались голоса в пользу немедленной казни тех, кто встал на сторону врагов страны, сам акт был механическим, обдуманым и добровольным выбором нескольких решительных людей. Поэтому у него был свой характер, и этот характер выделял его для современников, как должен выделять и для нас: это было убийство.

Пленники были безоружны - да, несмотря на измену, они не брали в руки оружия; на их уничтожение большинство тех, кто отдал приказ, вдохновляла простая ненависть. Те, кто отдал приказ, были небольшим комитетом, действовавшим спонтанно, и Марат был их вождем.[4]

Именно под впечатлением от этих массовых убийств в Париже собрались депутаты нового, третьего собрания Революции, известного в истории под названием *Конвента*.

Этот парламент должен был стать сначала фактической, а затем и номинальной властью во Франции в течение трех последующих критических лет, которые стали военным спасением Революции и, следовательно, позволили установить демократический эксперимент в современной Европе.

Именно 20 сентября Конвент собрался на свое первое заседание, которое состоялось во дворце Тюильри. В течение нескольких часов этого дня, пока он избирал своих чиновников, выбирал спикера и прочее, французская армия на границе, к собственному удивлению и удивлению противника, сумела сдержать при канонаде *Вальми* союзных интервентов.

На следующий день новое Собрание собралось в школе верховой езды (Манеж), где заседали и два предыдущих Собрания. Оно уже собиралось разойтись после заседания этого дня, когда один из членов предложил отменить королевскую власть; конвент единогласно проголосовал за эту реформу и разошелся.

На третий день, 22 сентября, было постановлено, что на государственных документах отныне будет стоять дата "Первый год Республики"; но торжественности в этом событии не было; идея "Нет короля" была новой и неопробованной; еще не было энтузиазма по поводу какой-либо иной, кроме монархической, формы правления. Только после того, как название "Республика" стало ассоциироваться в сознании людей с политической свободой, а также стало флагом победоносной национальной обороны, имя Республики приобрело в нашей Европе и во Франции ту мощную и почти религиозную силу, которую оно сохранило с тех пор.

Сдержанная, данная захватчикам при Вальми (опять же к изумлению солдат и государственных деятелей!), определила ход кампании. Болезни и трудности коммуникаций сделали дальнейшее продвижение захватчиков невозможным. Они провели переговоры и получили возможность беспрепятственно отступить, а через несколько недель вновь пересекли границу.

Тем временем в Париже началась великая ссора между муниципальным и национальным правительством, которая, поскольку Париж был более решительным, более революционным и, прежде всего, более военным, чем парламент, должна была закончиться победой столицы. Жирондисты по-прежнему выступали в Собрании за идеальную республику; республику, до предела обеспечивающую индивидуальную свободу граждан и автономию местного самоуправления в каждом городе и приходе; но против этого идеала, гораздо более национального, выступали революционные экстремисты, названные в Конвенте "Горой", которые пользовались поддержкой муниципального правительства Парижа (известного как "Коммуна") и были способны на победы Франции в полевых условиях. Они отстаивали старую французскую и солдатскую концепцию сильного центрального правительства, с помощью которого можно было бы вести борьбу на жизнь и смерть, в которую вступила Революция: поэтому они победили.

Всю ту осень спор между Францией и Европой оставался под вопросом, ибо, хотя войска Республики под командованием Дюмурьева выиграли битву при Жемаппе, пересекли северо-восточную границу и заняли Бельгию, а на юге другая французская армия пронеслась до самого Рейна, сам Дюмурье прекрасно понимал, что кампания, предпринятая лишь на энтузиазме, с войсками, столь разнородными по характеру и во многом недисциплинированными, может закончиться фатально. Но до наступления нового года общественное мнение не было проинструктировано на этот счет, и казалось, что

революционная война внезапно перешла от защиты национальной территории к крестовому походу против королей и аристократических правительств Европы. Энтузиазм, и только энтузиазм, был силой момента. Характерными для этого момента были такие жестокие декреты, как Декларация братства (декретировавшая союз со всеми народами, борющимися за свободу) и открытие Шельды (прямое нарушение договорных прав, партнером по которым была, в числе прочих государств, и Англия); главным же актом было предание короля суду парламента.

Именно 4 января 1793 года (король уже составил свое завещание на Рождество) главный оратор жирондистов предложил передать приговор на ратификацию народу. Страх перед гражданской войной больше, чем что-либо другое, не позволил этому справедливому предложению пройти. 15 января на рассмотрение парламента был вынесен вопрос, "виновен ли король в заговоре против общественной свободы и в покушении на общую безопасность государства". Многие отсутствовали, многие воздержались: ни один не ответил отрицательно; осуждение Людовика было, таким образом, технически почти единодушным.

Голосование по этим серьезным вопросам было тем, что французы называют "номинальным": то есть каждый член был призван "по имени", чтобы отдать свой голос и выразить свое мнение, если он того пожелает. Вторая попытка обратиться к народу была отклонена 424 голосами против 283. По третьему, решающему вопросу о наказании, в голосовании участвовал 721 человек, и из них за смерть высказалось едва ли большинство - 53 против меньшинства, из которых некоторые голосовали за смертную казнь "условно", то есть не голосовали вовсе, или голосовали против. Передышка была упущена большинством в 70 голосов, и 21 января 1793 года, около десяти утра, Людовик XVI был гильотинирован.

Затем последовала война с Англией, Голландией и Испанией, и почти в тот же момент начался неизбежный отлив военной волны. Ибо французское извержение до Рейна, в Низких странах и Пфальце, не имело постоянной военной основы, на которую можно было бы опереться. Дюмуре начал отступать через месяц после казни короля, а 18 марта потерпел решающее поражение при Неервиндене. Именно это отступление и последовавшая за ним катастрофа решили судьбу попытки жирондистов основать идеально, индивидуально и локально свободную республику. Еще до битвы при Неервиндене Дантон, уже не министр, но все еще самый влиятельный оратор в Конвенте, предложил создать специальный суд для рассмотрения дел об измене - суд, который позже был назван "Революционным трибуналом". Известие из Нервиндена подготовило почву для более решительных мер и какой-то исключительной формы правления; специальный парламентский комитет, уже сформированный для контроля за министрами, был усилен, когда 5 апреля, после некоторых переговоров и сомнений, Дюмуре, отчаявшись в силах Республики, решил объединить свои силы с захватчиками и восстановить порядок. Солдаты отказались следовать за ним; его измена была очевидна; на следующий день Конвент назначил первый "Комитет общественной безопасности", который, вместе с его преемником с тем же названием, стал настоящим деспотическим и военным центром революционного правительства. Ему была предоставлена тайна совещаний, виртуальный, хотя и не теоретический контроль над министерством, денежные суммы для тайных расходов, словом, все механизмы, необходимые для военной исполнительной власти. *Диктатор* Руссо явился, великий ум, провозгласивший *Contrat Social* евангелием революции, предвидел также один из необходимых органов демократии в ее тяжелейшем испытании; его теория оказалась необходимой и верной на деле. Девять членов составили этот первый комитет: Барер,

которого можно назвать его секретарем, Дантон - его гением и Камбон - его финансистом, были ведущими именами.

С созданием этой истинно национальной и традиционной организации, одна только форма которой была новой, но сила и метод которой были присущи всем военным традициям Галлии, Революция была спасена. Теперь нам предстоит проследить, как Комитет управлял и направлял дела в период великого кризиса войны. Этот шестой этап длится почти шестнадцать месяцев, с начала апреля 1793 года по 28 июля 1794 года, и эти шестнадцать месяцев удобно разделить на две части.

VI

С апреля 1793 года по июль 1794 года.

Первая часть этого периода, которая заканчивается в разгар лета 1793 года, представляет собой постепенное укрепление Комитета как нового органа власти и опасность уничтожения, которой он подвергается вместе с управляемой им нацией от рук союзной Европы.

Второй период включает в себя часть августа и весь остаток 1793 года, а также первые семь месяцев 1794 года, в течение которых Комитет добивается успеха в своих военных усилиях, нация спасена, и военное *положение* Террора внезапно прекращается, как в драматическом, так и в бессодержательном смысле.

Первым шагом в укреплении власти Комитета стало освобождение Парижской коммуны и управляемого ею населения против жирондистов.

С точки зрения внутренней политики (на которой сосредоточилось большинство историков) нападение населения Парижа и Коммуны на парламент кажется не более чем окончанием долгой ссоры между жирондистами с их идеалом федеральной республики и столицей с ее инстинктом сильной централизованной власти. Но в свете военной ситуации, о которой Комитет общественной безопасности был прекрасно осведомлен и которую он должен был контролировать, можно рассказать совсем другую историю.

Когда начались поражения, парламент проголосовал за сбор трехсот тысяч человек. Это было просто голосование, которое дало очень мало: недостаточно по численности и еще меньше по моральным качествам, так как тип войск, набранных по системе денежного оброка и покупных заменителей, был совершенно не приспособлен к задачам большой войны.

Закон о воинской повинности был принят 24 февраля. Дата его первого применения во многих деревнях была назначена на 10 марта. Вся страна, граничащая с устьем Луары на севере и на юге, страна, чьи географические и политические особенности не должны нас здесь задерживать, но которая все еще любопытно индивидуальна, начала сопротивляться. Конечно, декрет был непопулярен везде, как непопулярна военная служба среди оседлого населения. Но здесь у него не было союзника, так как революция и все ее дела были также крайне непопулярны. Ошибка гражданской конституции духовенства была мощным фактором этого восстания. Благочестие и православие этого района были и остаются исключительными. Подобное сопротивление в каком-то квартале было, возможно, ожидаемо: чего не ожидали, так это его военного успеха.

За четыре дня до разгрома Неервиндена и через четыре дня после декрета о воинской повинности в деревнях орда крестьян овладела городом Шолле в южной части этого округа, Вандеи. За три дня до создания Комитета общественной безопасности повстанцы

разгромили регулярные войска в Машекуле, а пленных подвергли пыткам и предали смерти. В апреле, когда Комитет общественной безопасности впервые оказался в седле, мятежники добились полного успеха. Силы, направленные против них, были бесполезны, поскольку все военные усилия были сосредоточены на границе. Большинство из них даже не были тем, что мы могли бы назвать ополчением. Небольшой отряд регулярных войск должен был двинуться из Орлеана, но, прежде чем они смогли атаковать, Туарс, Партене и Фонтене перешли во власть мятежников. Эти посты обеспечивали передовой треугольник прямо на регулярно управляемой территории Республики: великий город Нант был обойден с фланга. Даже в такой момент жирондисты продолжали придерживаться своего идеала: индивидуально свободной и автономной республики. Неудивительно, что нравы Парижа отказались поддерживать их или их влияние на парламент, и мы можем легко понять, как новый Комитет поддержал Париж в его восстании.

Это восстание произошло 31 мая. Войска под командованием столицы не выступили в поход, но депутация парижских секций потребовала ареста ведущих жирондистов. Толпа ворвалась в зал дебатов. Комитет общественной безопасности сделал вид, что идет на компромисс между Парижем и парламентом, но документ, недавно проанализированный, достаточно убедительно доказывает, что их симпатии были на стороне парижского нападения. Они предлагали отдать вооруженные силы Парижа в распоряжение Ассамблеи, то есть в их собственные руки.

В тот день ничего существенного сделано не было, но парламент оказался бессилён перед лицом столицы. На границе началось продвижение захватчиков. Великая крепость Валансьенн опиралась в своей обороне на соседний лагерь Фамарс. Гарнизон этого лагеря был вынужден покинуть его в результате наступления союзной армии 23 мая, и хотя должно было пройти несколько дней, прежде чем удалось установить тяжелую артиллерию австрийцев, Валансьен отныне находился во власти своих осаждающих. Поступали новости о том, что не только в Вандее вспыхнуло восстание. За три дня до этого восстал Лион. Произошли тяжелые бои. Роялисты и жирондисты объединились, захватили ратушу и создали восставшее и неизбираемое муниципальное правительство. Такие новости, пришедшие сразу после 31 мая, заставили столицу действовать. На этот раз парижские войска действительно выступили против парламента. Требование отстранить от должности двадцать два названных жирондистских депутата было выдвинуто под оружием. Многие были написаны, и лучшими историками, чтобы сделать из этого успешного дня простое завоевание Парижской коммуны над парламентом. Хотя Барер и Дантон протестовали на публике, на самом деле это была их политика, которая победила вместе с Парижем. К двадцати двум именам, которые перечислили силы Парижа, добавились семь. Великие жирондисты, Бриссо, Верньо и другие, не были действительно заключены в тюрьму, они считались "арестованными в своих домах". Но моральный авторитет Конвента как административной, а не законодательной машины был подорван в этот день, 2 июня 1793 года. Париж якобы победил, но хозяином, который был сильнее, чем когда-либо, и которому Париж служил, был Комитет общественной безопасности.

Этот первый Комитет общественной безопасности просуществовал до 10 июля. В разгар такой войны и такой внутренней борьбы Конвент проголосовал (по инициативе Комитета общественной безопасности) за знаменитую Конституцию 93-го года, этот главный документ демократии, который, словно в насмешку над собственным идеалом, с тех пор и по сей день остается не более чем письменным произведением. В ней было прописано всеобщее избирательное право, ежегодный парламент, референдум, выборная исполнительная власть - то, что сегодня не даст нам ни один парламент. Конституция была принята всего через три

недели после успешного восстания в Париже. Еще через две недели, 10 июля, за первым из Комитетов общественной безопасности последовал его преемник.

Все это время вендийцы наступали. Нант, правда, устоял против мятежников, но, как мы увидим через некоторое время, республиканские войска еще не оправдали себя. Восстание в Лионе укреплялось и через неделю должно было казнить радикала Шалье. Восставал Марсель. 10 июля Конвент вызвал к себе Вестермана, друга Дантона, который только что потерпел поражение от западных повстанцев.

Здесь уместно отметить один из тех мелких индивидуальных факторов, которые определяют судьбу государств. Дантон, инициатор первого движения к централизации, человек, который провел 10 августа, который вел переговоры с пруссаками после Вальми, который определил и сформировал центральное правительство против жирондистской анархии, сломался. Его здоровье пошатнулось. Он был гигантом в теле, но на данный момент он устал.

Было предложено обновить его Комитет: он был отстранен от нового выбора. Барер остался, чтобы связать старый комитет с новым. Жестокий сектант, кальвинистский пастор Жанбон Сент-Андре, один из самых смелых и самых порочных революционеров; Кутон, друг Робеспьера; Сен-Жюст, еще более близкий друг (молодой, красивый, чрезвычайно смелый и решительный человек), вошли, вместе с другими девятью членами, в новый комитет. Семнадцать дней спустя, 27 июля, Робеспьер заменил одного из выбранных таким образом второстепенных членов. Жить ему оставалось ровно год, и именно этот момент должен запечатлеть в памяти читателя характер его карьеры.

В этот момент Робеспьер был главной фигурой в глазах толпы и вскоре должен был стать главной революционной фигурой в глазах Европы: это первый момент. Второй не менее важен, но гораздо менее признан. Он не был и никогда не был главной силой в революционном правительстве.

Что касается первого пункта, то Робеспьер достиг этого положения благодаря следующему стечению обстоятельств: во-первых, единственный из всех революционных деятелей, он с самого начала постоянно находился на виду; он был членом первого парламента из всех и выступал в нем в первый месяц его заседаний. Хотя в то время он был малоизвестен в Версале, его уже хорошо знали в его провинции и родном городе Аррасе.

Во-вторых, это его положение в глазах общественности сохранялось без перерыва, а его положение и репутация росли, накапливаясь месяц за месяцем, в течение всех четырех лет. На политической арене не осталось никого другого, о ком можно было бы сказать подобное. Все старые реакционеры ушли, все умеренные люди ушли; все фигуры 1793 года были новыми фигурами - за исключением Робеспьера; и он был обязан этим постоянным и неуклонным ростом славы: в-третьих, его выдающимся успехам.

В-третьих, его яркой и заметной искренности. Он был более всецело одержим демократической верой *Социального договора*, чем любой другой человек его времени: он никогда не отступал ни от одной его статьи. Нет лучшего двигателя для прочной славы, чем выражение реальных убеждений. Более того -

В-четвертых, его речи в точности повторяли мнения его аудитории, причем повторяли их с такой ясностью, которой его аудитория не могла себе позволить. Обладал ли он истинным красноречием или нет - этот вопрос до сих пор обсуждается теми, кто разбирается во

французской литературе. Но несомненно, что в свое время он обладал всеми качествами великого оратора, хотя его манера была точной и холодной.

В-пятых, он обладал последовательной доктриной: то есть он не только был убежден в общедемократическом вероучении, которого придерживались его современники, и не только придерживался его непоколебимо и неуклонно, но и мог дополнить его системой морали и даже чем-то, что являлось признаками религии.

В-шестых, у него была, как это всегда бывает, но не часто случается, группа очень преданных личных поклонников и сторонников, главным из которых был молодой и великолепно мужественный Сен-Жюст.

Именно сочетание всех этих качеств и сделало Робеспьера главной личностью в глазах общественности, когда он вошел в Комитет общественной безопасности 27 июля 1793 года.

Следует отметить, что, в отличие от своего последователя Сен-Жюста и, в особенности, в отличие от Дантона, Робеспьер не обладал ни одним из тех военных качеств, без которых невозможно управлять военной нацией, особенно если эта нация находится в состоянии войны, и такой войны! Комитет общественной безопасности был Сезаром революционной Франции. Робеспьер как член этого Комитета был безнадежен. Его популярность была преимуществом для его коллег по Комитету, но его концепция действий на границах была расплывчатой, личной и бесполезной. Его стремление к лидерству, если оно и существовало, было подчинено стремлению стать спасителем своего народа и его демократического эксперимента, и он не понимал тех функций руководства, с помощью которых оно может координировать детали и навязывать план действий. Поэтому Робеспьер в каждом кризисе последнего года, который мы собираемся изучить, уступал своим коллегам, не производил на них впечатления и не вел их за собой, и все же (такова ирония его судьбы) соотечественники и враждующие правительства Европы считали его хозяином над всеми.

Первые недели после его появления в Комитете общественной безопасности стали переломными для всего революционного движения. Деспотические действия Парижа (которые, как я заключил, были тайно поддержаны Комитетом)[5] спровоцировали восстание в провинциях со всех сторон. Нормандия протестовала, и 13 июля одна из нормандских девушек заколола Марата. Лион, как мы видели, уже несколько недель бунтовал; Марсель восстал в первую неделю июня, Бордо и весь департамент Жиронда, конечно, восстали, поскольку на карту были поставлены их люди. Позже восстал Тулон, великая военно-морская база Франции: в этом порту было сформировано реакционное муниципальное провинциальное правительство, маленький мальчик, заключенный в Темпле, наследник королевства, был провозглашен под именем Людовика XVII, и еще до конца августа английский и испанский флоты были введены в гавань, а отличный иностранный гарнизон защищал город от национального правительства.

Тем временем союзники на бельгийской границе делали все возможное, беря крепость за крепостью, и пока Майенс падал на Рейне, на северо-восточной границе капитулировали Валансьен и Конде, а часть союзной армии отправилась осаждать Данкерк. Восстание в Вандее, вспыхнувшее в начале года, хотя и было подавлено сопротивлением Нанта, все же имело успех на местах.

Именно в августе была предпринята успешная попытка. Карно, который вскоре доказал, что является военным гением Революции, вошел в Комитет общественной безопасности. 23-го числа месяца на голосовании в парламенте нации был предложен настоящий сбор, сильно

отличающийся от тщетных и недостаточно эффективных попыток, предпринятых весной. Это был сбор людей, транспортных средств, животных и провианта, и вскоре в стране появилось не менее полумиллиона солдат. В сентябре ситуация изменилась, и первая победа в этом кризисе борьбы, Хундшот, освободил Данкерк в первых числах сентября. К середине октября вторая и решающая победа, победа при Ваттиньи, освободила Маубеж. Лион был взят, Нормандия умиротворена задолго до этого; к концу года Тулон был вновь занят, и в то же время последние сплоченные силы вендийцев уничтожены.

Но тем временем кризис имел двойной эффект, моральный и материальный. Моральный эффект заключался в некоем национальном безумии, когда предлагались самые крайние меры, и многие из них осуществлялись с тем, что можно назвать творческой смелостью. Был изменен сам календарь, отменена неделя, переименованы и скорректированы месяцы. Подобный акт в достаточной степени символизирует ментальный настрой революционеров. Они были настроены на новую землю.

Вместе с этим последовала последняя и самая жестокая атака на то, что считалось последними остатками католицизма в стране, чудовищное преследование священства, в ходе которого несчетное количество священников погибло под пытками или в результате насилия. Расправы с мятежниками варьировались от суровости самого ужасного толка до жестокости, которая была явно безумной, и самые страшные примеры которой имели место в Аррасе и Нанте.

Во всей этой суматохе правящий центр страны, Комитет общественной безопасности, не только не терял головы, но и использовал огромные силы бури для достижения военного успеха в рамках системы, известной как "Террор", которая была для них не более чем военным положением и двигателем их деспотического контроля. Из двух тысяч с лишним человек, которые предстали перед революционным трибуналом и были казнены в Париже, подавляющее большинство составляли те, кого Комитет общественной безопасности счел препятствиями для своей военной политики; большинство из них были мужчинами или женщинами, нарушившими какую-то конкретную часть военного кодекса, который установило правительство. Некоторые из них были генералами, потерпевшими неудачу или подозреваемыми в измене; а некоторые, наиболее заметные, были политиками, пытавшимися остановить столь абсолютный метод ведения войны.

Самым известным из них был Дантон. До конца 1793 года он начал протестовать против системы Террора; возможно, он считал, что страна теперь в безопасности в военном смысле и больше не нуждается в таких строгостях. Но Комитет с ним не согласился, и если бы имелись доказательства, мы бы поняли, что Карно, в частности, решил, что такая оппозиция должна прекратиться. Дантон и его коллеги, в том числе Десмулен, журналист Революции и главный публицист, пропагандировавший июльские дни 1789 года, были казнены в первую неделю апреля 1794 года.

Параллельно с этими действиями Комитета было совершено внезапное нападение на людей другой крайности: тех, чья жестокость, чрезмерная даже для того времени, грозила спровоцировать реакцию. Эбер был главным из них, представителем Парижской коммуны; он также погиб.

Тем временем Комитет допустил другие преследования и другие смерти, в частности, королевы. Здравомыслящая политика потребовала бы держать ее в качестве заложницы, но она была принесена в жертву жажде мести, и ее голова упала в тот же день, когда была выиграна решающая битва при Ваттиньи. Позже сестра короля, мадам Елизавета, была принесена в жертву тем же страстям, и с ней следует считать определенную часть жертв, чье

уничтожение не могло быть частью плана Комитета и исходило исключительно из мотивов древней ненависти, хотя в случае многих из них, имевших аристократическое происхождение или влияние благодаря своему богатству, нелегко определить, насколько возможность их интриги с иностранцем могла не привести их на эшафот.

В последние четыре месяца периода, который мы рассматриваем в этой книге, с апреля, то есть после казни Дантона, в мае, июне и почти до конца июля, Робеспьер проявляет себя особенно ярко. В свод законов Революции вносятся его собственные причуды и доктрины, в частности, его религиозные догмы о личном Боге и бессмертии души. Более того, в честь этих вопросов устраиваются публичные торжества, на которых он выступает в качестве первосвященника. Интенсивность идолопоклонства, которое он принимал, никогда не была столь велика; число разделяющих его, возможно, уменьшалось. Несомненно, он не осознавал, насколько рушились опоры его огромной популярности. Несомненно, он видел лишь растущий энтузиазм своих непосредственных последователей. Комитет по-прежнему использовал его как свое орудие - в частности, для усиления Террора в июне, но возможно, что впервые за все эти месяцы он начал пытаться получить какую-то власть в Комитете: мы знаем, например, что он поссорился с Карно, который был самым сильным человеком в нем.

В прошлом они позволяли ему потворствовать частной политике, если она не мешала общему военному плану. Он был в значительной степени ответственен за суд и казнь королевы - не по собственному разумению, а из желания высказать свое мнение. Он проявил временность, когда Дантон начал кампанию против Террора в конце 1793 года, и то, что он сначала допустил, а затем помог казнить Дантона, является неизгладимым пятном на его памяти и на его справедливо заслуженной репутации честного и искреннего человека. Мы можем предположить, исходя из тех немногих признаков, которыми мы располагаем, что он протестовал против этого в тайных советах Комитета, но он уступил, и более того, поскольку Сен-Жюст хотел быть обвинителем Дантона, он снабдил Сен-Жюста записками против Дантона. Хотя именно Комитет был морально ответствен за крайнее расширение Террора, продолжавшееся в течение последних месяцев, Робеспьер имел неосторожность действовать как их инструмент, составлять их последние декреты и, полагая, что Террор популярен, поддерживать его публично. Именно это его и погубило. Крайние террористы, те, кто еще не пресытился местью, кто ненавидел и боялся народного кумира, решили свергнуть его.

Масса тех, кто мог стать следующей жертвой и кто, ничего не зная о тайных советах Комитета, считал Робеспьера тем, за кого он себя выдавал, - хозяином Комитета, - жаждала его смещения. В его вымышленном образе мнимой главной власти в государстве вся растущая тошнота против Террора была направлена против его персоны.

Одновременно с этими силами Комитет, которому он, опираясь на свое общественное положение, начал мешать, а возможно, и мешать в военных действиях (он, конечно, безуспешно пытался спасти несколько жизней вопреки решению своих коллег), решил избавиться от него. Кризис наступил на четвертой неделе июля: или, как тогда говорили в революционном календаре, на второй неделе Термидора. Он был разгромлен в парламенте, активный и ловкий заговор организовал все скрытые силы оппозиции ему; он все еще так верил в свою популярность, что сцена привела его в замешательство, и он все еще был так любим и так горячо преследовался, что, когда на том же заседании он был объявлен вне закона, его брат пожертвовал собой, чтобы последовать за ним. Сен-Жюст был включен в приговор, а его строгий друг Лебас добровольно принял ту же участь.

Последовавшее за этим сначала было путаницей авторитетов; арестованный, начальник тюрьмы, в которую был отправлен Робеспьер, отказался принять его. После наступления темноты он и его единомышленники собрались в отеле де Виль, и была предпринята попытка спровоцировать восстание. О том, что последовало за этим в полночь, существует множество путаных описаний, но два факта несомненны: население отказалось встать на защиту Робеспьера, а парламент, за спиной которого находился Комитет, организовал вооруженную силу, которая легко справилась с зарождавшимся восстанием в Котле-де-Виль. Вероятно, подпись Робеспьера была необходима для прокламации о восстании: несомненно, что он не завершил ее и предположительно не стал действовать вопреки всем своим теориям народного суверенитета и общей воли. Пока он сидел с бумагой перед собой и незаконченной подписью, в комнату ворвались вооруженные силы парламента, парень по имени Мерда прицелился с порога в Робеспьера из пистолета и выстрелил ему в челюсть (доказательства в пользу этой версии неопровержимы). Из его товарищей некоторые бежали и были схвачены, некоторые покончили с собой, большинство было арестовано. На следующий день, 10 термидора, или 28 июля 1794 года, в половине седьмого вечера Робеспьер и еще двадцать один человек были гильотинированы.

Ирония истории заключается в том, что падение этого человека, которое было вызвано главным образом его вмешательством в систему Террора, сломило всю моральную силу, на которой держался сам Террор; ведь люди вообразили, что Террор был его делом, и что, если он уйдет, ему не останется оправдания. Началась реакция, которая делает эту дату настоящим сроком в той восходящей серии революционных усилий, которые к тому времени обсудили все аспекты демократии, преуспели в военной защите этого эксперимента и заложили, хотя пока только на словах, основу современного государства.

ССЫЛКИ:

[3] Читатель должен быть предупрежден, что эти цифры вызывают жаркие споры. Последние авторитеты допускают не более 4000. После всестороннего изучения фактов я могу сократить численность гарнизона не менее чем до 6000 человек.

[4] Легенда о том, что Дантон был связан с массовыми убийствами, не имеет под собой достаточных исторических оснований. Есть несколько историй из вторых или третьих рук, подтверждающих ее, но главным положительным доказательством в этой связи является бумага с печатью министра юстиции, которая, как убедительно доказал доктор Робине, была взята подчиненным и без ведома или соучастия Дантона. На гораздо более глупую историю о том, что марсельские федералы принимали участие в резне, современному студенту нет нужды обращать внимание; она была разрушена по частям и на неопровержимых документальных доказательствах в монографии Поллио и Марселя.

[5] На с. 403 моей монографии о Дантоне (Nisbet & Co., 1899) читатель найдет неопубликованный отчет Комитета общественной безопасности, составленный непосредственно перед уничтожением жирондистов 31 мая. Он, на мой взгляд, является неопровержимым доказательством, если рассматривать его в свете других действий Комитета, его решимости встать на сторону Парижа.

ВОЕННЫЙ АСПЕКТ РЕВОЛЮЦИИ

Революция никогда бы не достигла своей цели: напротив, она привела бы не менее чем к жестокой реакции против тех принципов, которые созревала до ее начала и которые она привела к триумфу, если бы армии революционной Франции не добились успеха на поле боя; но осознание этого простого исторического факта, я имею в виду успех революционных армий, к сожалению, не является простым делом.

Мы все знаем, что в целом революция была успешной в навязывании своих взглядов Европе. Мы все знаем, что из этого успеха, как из зародыша, возникло и продолжает развиваться современное общество. Но природа, причина и масштабы военного успеха, который только и сделал это возможным, широко игнорируются и еще более широко понимаются неправильно. В истории не было случая, чтобы значительное военное усилие, достигшее своей цели, закончилось военной катастрофой, как это случилось с революционными войнами. После двадцати лет продвижения, в течение которых идеи революции были посеяны по всей западной цивилизации и успели пустить корни, армии революции наткнулись на огромную ловушку или ошибку русской кампании; за ней последовало решительное поражение демократических армий при Лейпциге, а превосходная стратегия кампании 1814 года, блестящее ралли того, что называется Сто дней, лишь подчеркнули полноту кажущегося провала. Ведь за той виртуозной кампанией последовало первое отречение Наполеона от престола, та блестящая акция закончилась Ватерлоо и гибелью французской армии. Когда мы рассматриваем распространение греческой культуры на Востоке, параллельно с военным триумфом Александра, или завоевание Галлии римскими войсками под командованием Сезара, мы сталкиваемся с политическими явлениями и политическим успехом, не более поразительным, чем успех Революции. Революция сделала мечом столько же, сколько Александр или Сезар, и так же уверенно заставила совершить одно из великих преобразований Европы. Но тот факт, что великая история может быть доведена до поражения, тревожит ум студента.

Опять же, тот элемент, который является фатальным для всех точных исследований военной истории, вменение гражданских добродетелей и мотивов, входит в сознание читателя с фатальной легкостью, когда он изучает революционные войны.

У него возникает соблазн приписать энтузиазму войск, а то и самому политическому движению некую чудодейственную силу. Он склонен использовать по отношению к революционным победам слово "неизбежный", которое если и применимо к разумным, волевым и сознательным действиям людей, то уж точно в наименьшей степени к солдатам.

Есть три момента, которые мы должны тщательно учитывать при рассмотрении военной истории Революции.

Во-первых, то, что она удалась: Революция, рассматриваемая как политический мотив ее армий, победила.

Во-вторых, что она добилась успеха благодаря тем военным способностям и условиям, которые сопутствовали, но не обязательно сопутствовали, сильным убеждениям и гражданскому энтузиазму того времени.

В-третьих, элемент случайности, который каждый мудрый и благоразумный рассудок в значительной степени допускает во всех военных делах, в критические моменты первых войн работал в пользу Революции.

Зафиксировав эти моменты и будучи готовыми вернуться к ним, когда мы оценим военную историю, хорошо бы начать наше исследование с краткого рассказа этой истории в самых общих чертах. При этом придется то и дело затрагивать моменты, которые уже рассматривались в этой книге, но это неизбежно, когда пишешь о военном аспекте любого движения, ибо невозможно рассматривать этот аспект иначе, как живую часть целого: настолько вплетено в национальную жизнь дело войны.

ОДИН

Когда Революция только начинала действовать, перспектива войны между Францией и любой другой великой державой того времени - Англией, Пруссией, Империей, или, скажем, Россией, или даже Испанией - была такой перспективой, которая могла возникнуть в любое время в течение последних двух или трех поколений людей.

На протяжении почти ста лет люди привыкли рассматривать династические распри, поддерживаемые определенным типом армии, который я сейчас опишу.

Я назвал эти распри династическими, то есть в основном это были распри между правящими домами Европы: в основном они были вызваны желанием каждого правящего дома приобрести большую территорию и доходы, и ограничивались решимостью всех правящих домов сохранить в неприкосновенности определенные идеи, такие как, например, священность монархии, независимость отдельных государств и т. д. Хотя в основном они были династическими, но в той мере, в какой династия могла представлять объединенную нацию, они были и национальными. Английская олигархия была в этом отношении своеобразной и более национальной, чем любое европейское правительство своего времени. Верно и то, что за русским деспотизмом в большинстве его военных авантур и во всем его духе экспансии стояло подсознательное согласие народа.

И все же, какими бы национальными ни были войны времени, предшествовавшего революции, они шли в рамках незыблемых идей, выйти за которые не мечтал ни один полководец, ни один дипломат. А, коронованный глава государства, мог предъявлять претензии к В, коронованному главе другого государства, в отношении определенных территорий. С, коронованный глава или правительство третьего государства, сохранял нейтралитет или вступал в союз с одним из двух; если он вступал в союз, то, как правило, с более слабым против более сильного, чтобы гарантировать себя от слишком большого усиления со стороны соперника. Или, опять же, против власти А в какой-то части его владений вспыхивало восстание; тогда Б, несколько неохотно (поскольку почти неограниченное право существующей исполнительной власти все еще оставалось сильной догмой в умах людей), склонялся к союзу с восставшими, чтобы уменьшить власть А.

Человеческие дела всегда имеют очень сильный и постоянно присущий им характер спорта: интерес (во всяком случае, у мужчин) к ведению человеческой жизни всегда в значительной степени заключается в том, чтобы следить за соблюдением определенных правил и выигрывать определенные очки в соответствии с этими правилами. Поэтому мы должны остерегаться высмеивать военные действия века, предшествовавшего революции, под эпитетом "игра". Но в отношении этой войны верно и почетно то, что в ней предпринимались ограниченные попытки; в ней не было попыток фундаментальных изменений в обществе; она не была открытой - по крайней мере, после Тридцатилетней войны - борьбой идей; она

велась от имени известных и ограниченных интересов для известных и весьма ограниченных целей, а инструменты, с помощью которых она велась, были инструментами искусственными и отделенными от общей жизни наций.

Эти инструменты были так называемыми "профессиональными" армиями. Этот термин очень недостаточен и, отчасти, вводит в заблуждение. Офицерами, возглавлявшими эти войска, были дворяне различных держав, к которым примешивались авантюристы не всегда благородных кровей; и для большей части дворянства в большинстве европейских стран военная карьера была главным полем деятельности. Люди, которых они возглавляли, не были ни крестьянством, ни рабочим классом, ни тем более гражданскими силами, в которых мог бы участвовать средний класс: это были самые бедные и малообеспеченные люди, некоторые сказали бы - отбросы европейской жизни. За исключением отдельных мужчин - обычно очень молодых, которых привлекала сказочная романтика этого тяжелого, но славного ремесла, - и за исключением некоторых корпусов, которые в массовом порядке следовали за реликвиями феодальных владений, армии периода, непосредственно предшествовавшего Революции, были армиями очень бедных людей, которые продали себя в своего рода рабство, часто захватывающее и даже авантюрное, но, при детальном рассмотрении, не являющееся карьерой, которую выбрал бы свободный человек. Этих людей ловили по экономической необходимости, обманом и другими способами, а поймав, удерживали. Лучшего доказательства этому не найти, чем варварская суровость наказаний за дезертирство или мелкие проявления недисциплинированности. В таком виде их использовали для целей игры, причем не только для того, чтобы они были пригодными орудиями войны, но и для того, чтобы они были приятны своим хозяевам. Строгая выправка, определенные парадные и внешние формы, все то, что требуется в театре или в претенциозном доме, присутствует в военных правилах того времени.

При всем этом я не должен думать, что умаляю значение того великого периода между 1660 и 1789 годами, в течение которого военное искусство было наиболее тщательно продумано, традиции большинства наших великих европейских армий закрепились, а постоянные военные качества, которые мы все еще наследуем, развиты. Люди, попавшие в качестве рядовых солдат, не могли не наслаждаться игрой, когда она активно велась, ибо люди европейского происхождения всегда будут наслаждаться игрой в войну; они превозносили ее пересказ и воспоминания о ней; быть солдатом, даже в подневольных условиях того времени, было достойным предметом гордости, и далее следует отметить, что излишки жестокости, обнаруживаемые при установлении дисциплины, также сопровождались очень высокими и долговечными примерами воинской добродетели. Поведение английских контингентов при Фонтенуа - лишь один из многих примеров того, что я имею в виду.

И все же, чтобы понять войны Революции, мы должны четко определить контраст между так называемыми профессиональными армиями, которые предшествовали этому движению, и армиями, которые Революция изобрела, использовала и завещала современному миру.

Также, возвращаясь к сказанному выше, мы должны вспомнить о династическом и ограниченном характере войн, в которые был вовлечен восемнадцатый век; в начале Революции люди не думали о других войнах.

Если бы вы, например, в какой-нибудь момент 1789 года заговорили о положении Великобритании с государственным деятелем, имеющим старый опыт или только вошедшим в политическую жизнь благодаря новому движению, он бы сразу же обсудил это положение в терминах недавнего поражения Великобритании от Франции в деле об американских колониях. Если бы вы обсудили с ним позицию Пруссии, он бы сразу же аргументировал ее в

связи со светской оппозицией Пруссии к Австрии и империи. Если бы вы спросили его, как он относится к Испании, он бы рассказал о положении Испании по отношению к Франции в свете того факта, что Испания - монархия Бурбонов, кровно связанная с французским престолом. И так далее. Ни один истинный государственный деятель не представлял себе в то время, да и в течение многих лет, что война *идей* или даже, строго говоря, *наций* возможна. Даже когда такая война фактически велась, дипломатия, пытавшаяся установить мир, интриги, с помощью которых искали союзы или договаривались о нейтралитете, зависели от старой концепции вещей; и историк, рассматривая эту гигантскую борьбу, получает ироническое удовлетворение, видя, как люди сражаются на основе самых универсальных доктрин, которые только можно себе представить, и при этом постоянно меняют свое поведение в ходе борьбы в соответствии с концепциями, полностью конкретными, локальными и эфемерными, которые вскоре будут полностью сметены временем.

Сам Наполеон должен был жениться на австрийской эрцгерцогине в рамках этого старого предрассудка, и в течение многих лет мозги его были столь же превосходны, как предположения Дантона или Талейрана о возможности относиться то к Англии, то к Пруссии, как к нейтральной стороне огромной попытки французов уничтожить привилегии в европейском обществе!

Можно сказать, что в течение двух лет связь революционного движения с оружием не имела иного аспекта, кроме гражданской войны. Правда, всякий раз, когда в обществе происходят значительные изменения, всегда возникает возможность внешней войны в связи с ними. Если бы в каком-нибудь европейском государстве, например, сегодня проводился эксперимент с коллективизмом, возможность иностранной интервенции, несомненно, обсуждалась бы сторонниками этого эксперимента. Но ни в самой Франции, ни за ее пределами в течение первых двух лет масса образованных людей не представляла себе серьезной опасности вооруженной борьбы между французами и кем-либо из их соседей в связи с политическим экспериментом Революции. И, повторяю, военный аспект тех лет сводился к гражданским беспорядкам. Тем не менее, этот аспект не стоит игнорировать. То, как французы организовали свою гражданскую войну (а в ней всегда присутствовало нечто подобное, начиная с лета 1789 года), сильно повлияло на последующую внешнюю войну: ведь в ходе внутренней борьбы огромные массы французов привыкли к физическому присутствию оружия, к его обсуждению миллионами.

Как мы уже видели в другой части этой книги, повторяющаяся и бросающаяся в глаза ошибка - представлять, что первые революционные вспышки не были достаточно сурово встречены королевскими войсками. Напротив, королевские войска были использованы по максимуму и потерпели поражение. Население крупных городов, особенно Парижа, доказало, что способно к военной организации и военным действиям. Когда к этой способности добавился институт ополчения, называемый Национальной гвардией, уже были видны задатки нации, полностью состоящей из военных.

Многое в этом исключительном и новом положении следует приписать галльскому характеру. Можно сказать, что со времен падения Римской империи и до наших дней этот характер постоянно и по собственной воле погружался в опыт организованной борьбы. Гражданские волнения были для него родными, риск погибнуть, защищая политические цели, был столь же привычным, и все ремесло оружия, его необходимая организация, его усталость и его ограничивающие условия были очень хорошо знакомы населению на протяжении всех этих веков. Но помимо этого, тот факт, что Революция подготовила людей в

школе гражданских беспорядков, имел первостепенное значение для их последующей пригодности против иностранных держав.

В истории всегда полезно определить определенную точку отсчета политического развития, и точку отсчета революционных войн можно легко определить с того момента, когда Людовик, его королева и королевские дети попытались бежать на границу и в армию Центра под командованием Буйе. Это произошло, как мы уже видели, в июне 1791 года.

Многие факторы делают эту дату отправной точкой. Во-первых, до этого момента в глазах европейских монархов не было никаких фактических доказательств пленения их главного образца, короля Франции.

Дикое шествие на Версаль в дни октября 1789 года имело свою параллель в сотне народных волнений, с которыми Европа была достаточно знакома на протяжении веков. Но быстро сменявшие друг друга реформы 1790 года и даже великая религиозная ошибка 1791 года получили подпись и общественное одобрение короны. Двор, хотя уже и не в Версале, был великолепен, власть короля над исполнительной властью все еще намного превышала власть любого другого органа государства и бесконечно превышала власть любого другого человека в государстве. Разговоры о плене, оскорблениях и прочем, крики эмигрантов и постоянные жалобы французской королевской семьи в личных отношениях казались преувеличенными или, во всяком случае, не имеющими под собой оснований, пока не произошло потрясение, связанное с попыткой бегства и возвращения короля. Это перечеркнуло все; и перечеркнуло тем более, что не один двор, и особенно австрийский, несколько дней считал, что побег удался.

Опять же, бегство и его неудача поставили армию в смешное положение. Действия против революции были маловероятны, пока за границей верили в дисциплину и стойкость французской армии. Но в тот раз главное командование безнадежно провалилось, и было очевидно, что франкоязычным войскам не может доверять ни исполнительное правительство, ни их собственные командиры. Кроме того, неудача полета заставляет королеву, с ее бодростью духа и стремительными, хотя и плохо сформированными планами, впервые обратиться к идее военного вмешательства. Ее письма с предложением об этом (правда, в форме угрозы, а не войны) начинаются только после ее пленения в Варенне.

Наконец, одновременно с этой катастрофой было открытое упоминание о республике, открытое предложение свергнуть короля и первый определенный и публичный вызов принципам монархии, которые Революция бросила Европе.

Поэтому мы не удивлены, что за этим началом военного движения через два месяца последовала Пилльницкая декларация.

О политической природе этой декларации следует говорить в другом месте. Здесь же следует обратить внимание на ее военный характер.

Пилльницкая декларация в максимальной степени соответствовала тому, что в наше время было бы приказом о подготовке к мобилизации определенной части резерва. Ее нельзя с полным правом назвать эквивалентной приказу о *призыве* всех резервистов, а тем более эквивалентной приказу о мобилизации на военную основу всех сил современной нации, поскольку такие действия равносильны объявлению войны (как, например, действия английского правительства перед началом борьбы в Южной Африке), а Пилльниц был очень далек от этого. Но Пилльниц, безусловно, был столь же радикальной военной мерой, как и публичное заявление группы держав о том, что резервы предупреждены в связи с их ссорой

с другой державой. Это было, например, столь же радикально, как действия Австрии против Сербии в 1908 году. И за ним должна была последовать такая покорность, которая, как ожидается, последует за угрозой применения превосходящей силы.

Таков был смысл писем Марии-Антуанетты к брату (который созвал встречу в Пилльнице), и таков был смысл, в котором его понимали политики Революции.

Всю ту осень и зиму иностранные дипломаты и самые ясные французские мыслители больше всего следили за состоянием французских войск и их командованием. Назначение Нарбонна в военное министерство имело большее значение, чем любой политический шаг, преемственность Дюмурьева была событием времени. Были разработаны планы кампании (которые Мария-Антуанетта быстро передала врагу), были найдены многочисленные поводы для реальных военных действий, Революция бросила вызов Императору в вопросе об эльзасских принцах, Император бросил вызов Революции через Кауница письмом, прямо вмешивающимся во внутренние дела Франции и претендующим на право *вступления* в них; и 20 апреля 1792 года Империи была объявлена война. После этого Пруссия сообщила французскому правительству, что она вступила в союз с императором, и революционная борьба началась.

Первые четыре месяца война не обнаруживала серьезных черт: так медленно собирались и шли союзники; но паника, в которую впадали революционные войска в первых стычках, отсутствие дисциплины и очевидный развал французской военной мощи, делали успех вторжения в силе, когда оно должно было произойти, несомненным. Армия вторжения пересекла границу только через неделю после падения дворца. Лонгви сразу же капитулировал; через неделю, в последние дни августа, была вызвана великая пограничная крепость Верден. Она капитулировала почти сразу.

ДВА

2 сентября в Верден вошли пруссаки, и немного в стороне от ворот города, у деревни с названием Регре, был разбит лагерь союзников. Спустя более недели, 11 числа, союзники выступили против Аргонской линии.

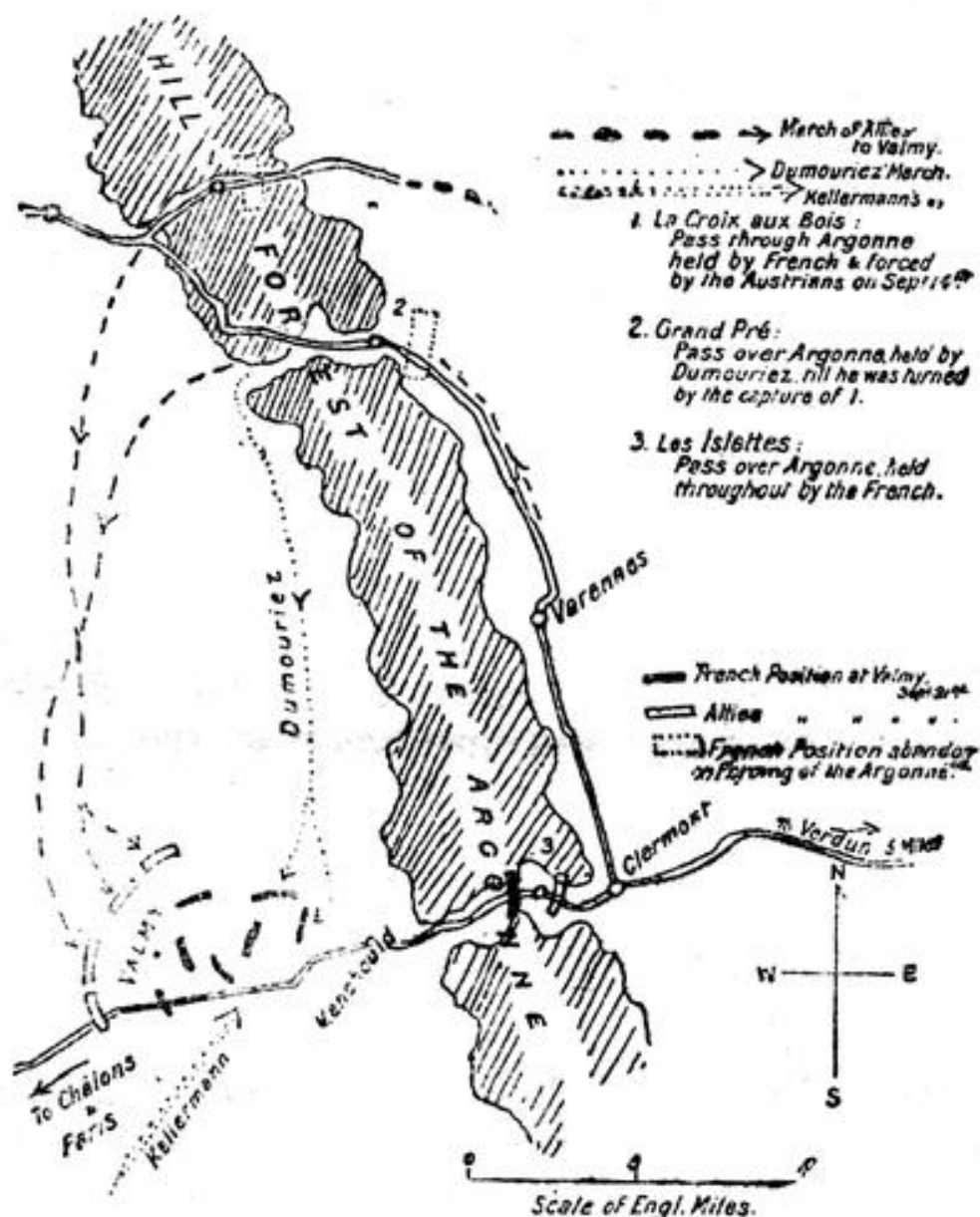
Читатель помнит, что этот момент, с потерей пограничных крепостей Лонгви и Верден, и свидетельством деморализации, которую это дало, был также моментом сентябрьской резни и ужасов в Париже. Дюмурьеzu и смешанным французским войскам, которыми он командовал, военные министры приказали удерживать линию Аргонны, против которой наступали союзники. И здесь уместно пояснить, что в военном смысле подразумевалось под словом "линия".

Аргонны - это длинная, почти прямая гряда холмов, идущая с юга на север, значительно западнее севера.

Их почва - глина, и хотя высота холмов составляет всего триста футов над равниной, их уступ или крутой склон обращен на восток, откуда можно ожидать вторжения. Они густо заросли лесом, от пяти до восьми миль в ширину, вода в них плохая, во многих местах не пригодная для питья; жилье с его обеспечением для армий и дорог крайне редко. На всех этих деталях необходимо настаивать, потому что большинству гражданских читателей трудно понять, насколько грозным препятствием для армии, находящейся на марше, может быть столь сравнительно малозначимая особенность ландшафта. Орудиям, повозкам, а значит, и продовольствию и боеприпасам армии вторжения было совершенно невозможно пройти через лес по размокшей глинистой земле той сырой осени, за исключением тех мест, где

имелись соответствующие дороги. Их можно было найти только там, где хребет пересекали естественные перевалы.

Таких перевалов было всего три, и по сей день выбор при переходе через эти холмы невелик. Прилагаемый рисунок объясняет их расположение. Через самый южный проходила большая дорога от границы и Вердена до Парижа. На среднем (который называют пропастью Гранпре) ждал Дюмурье со своей несочетаемой армией. Третья, северная, тоже удерживалась, но менее прочно. Очевидный марш для беспрепятственного захватчика был бы из Вердена по большой дороге, через южный проход у "Les Islettes", далее к Шалону и Парижу. Но Дюмурье, стремительно наступая с севера, поставил передовое охранение для удержания этого перевала, а сам с основной массой армии залег на перевале к северу от него у Гранпре. Пруссак выступили против Гранпре, а австрийцы тем временем атаковали дальнейший перевал к северу. Оба были вынуждены. Дюмурье отступил на юг к Сен-Менехульду. Тем временем Келлерманн подошел из Меца, чтобы присоединиться к нему, и все это время главный перевал в Лез-Ислете, через который проходила большая дорога на Париж, продолжал удерживаться французами.



Карта-эскиз, показывающая поворот позиций на Аргонне и канонаду при Вальми, сентябрь 1792 года.

Увеличить карту

Пруссаки и австрийцы соединили свои силы на равнине, известной как Шампань Пуйез, которая лежит к западу от Аргонны. Как видно, когда они продвигались на юг по этой равнине, чтобы встретить Дюмурьева и разгромить его, их положение было весьма своеобразным: они находились ближе к столице противника, чем его армия, и при этом им приходилось сражаться спиной к этой столице, а их противнику - французам - лицом к ней. Кроме того, следует отметить, что коммуникации союзной армии теперь были извилистыми, кружными, что делало доставку провианта и боеприпасов медленной и затруднительной, но они рассчитывали на немедленное уничтожение сил Дюмурьева, а после этого на быстрый марш к столице.

19 сентября Келлерманн подошел с юга и соединился с Дюмурьева у Сен-Менегульда, а утром 20-го его войска заняли участок земли, на котором стояла ветряная мельница, а сразу за ней - деревня Вальми; от этой деревни и получили свое название последующие действия. Здесь необходимо подчеркнуть, что обе армии более двух недель подвергались жесточайшей непогоде, но прусские войска пострадали от этого несчастья гораздо сильнее, чем французские. Уже началась дизентерия, а протяженность и извилистость коммуникаций значительно усугублялись состоянием дорог.

Утром того же дня, 20 сентября, туман помешал всем решительным действиям. Произошло столкновение, наполовину случайное, между передовой французской батареей и орудиями противника, но только в середине утра погода поднялась настолько, чтобы показать каждой силе ее противника. Затем произошла акция или, скорее, канонада, результат которой объяснить, пожалуй, труднее, чем любое другое значительное действие революционных войн. В течение нескольких часов прусская артиллерия, позже усиленная австрийской, обстреливала французскую позицию, центральным ориентиром которой была ветряная мельница Вальми, вокруг которой группировались французские войска. В один момент эта канонада подействовала на лимберы и повозки с боеприпасами французов; раздался взрыв, который все очевидцы запомнили как главную особенность стрельбы, и который, несомненно, на несколько мгновений привел в замешательство плохо сгруппированные войска под командованием Келлермана. О том, в котором часу это произошло, свидетели, оставившие нам свидетельства, расходятся до чрезвычайности. У одних это было в полдень, у других - ближе к середине дня - так трудно получить точный отчет о том, что происходит в разгар боя. Во всяком случае, если не случайно с этим успехом, то в какой-то момент, не очень далекий от него, был отдан приказ о наступлении прусских войск, и именно здесь возникают главные трудности историка. Этот удар так и не был осуществлен; то ли, как полагают некоторые, потому, что после приказа выяснилось, что он невозможен перед лицом точности и интенсивности французского огня, то ли, что более вероятно, потому, что вымокшая земля заставила командиров отказаться от движения после его начала - какова бы ни была причина, прусские войска, хотя они были великолепно дисциплинированы и руководимы, и хотя продвигались в самом точном порядке, не смогли выполнить свою первоначальную цель. Они остановились на полпути вверх по склону, и действия так и остались простой канонадой без видимого результата с обеих сторон.

Тем не менее этот результат в конечном итоге оказался очень большим, а если рассматривать его место в истории, то не менее важным, чем мог бы быть результат решительных действий. Во-первых, задержка на один день, которую она повлекла за собой, была больше, чем допускали расчеты союзников с их давно затрудненной линией коммуникаций. Во-вторых, это сопротивление придало необыкновенную решимость и моральную силу обескураженным и плохо подобранным войскам французских командиров.

Мы должны помнить, что французские войска в целом ожидали поражения и сбрасывали его со счетов, рядовой солдат особенно не был уверен в результате; и обнаружить, что на первое действие, которое так долго угрожало и теперь, наконец, наступило, он может противостоять врагу, произвело на него преувеличенный эффект, которого оно никогда бы не имело при других обстоятельствах.

Наконец, мы должны помнить, что какие бы причины ни препятствовали прусскому наступлению, они запретили на следующий день общее наступление на французскую позицию. И все это время болезнь в прусском лагере стремительно усиливалась. Даже этот короткий перерыв в двадцать четыре часа значительно изменил ситуацию. Дальнейшая задержка еще на один день, в течение которого союзная армия не могла решить, наступать ли сразу или стоять на месте, очень сильно увеличила список неэффективных по болезни войск.

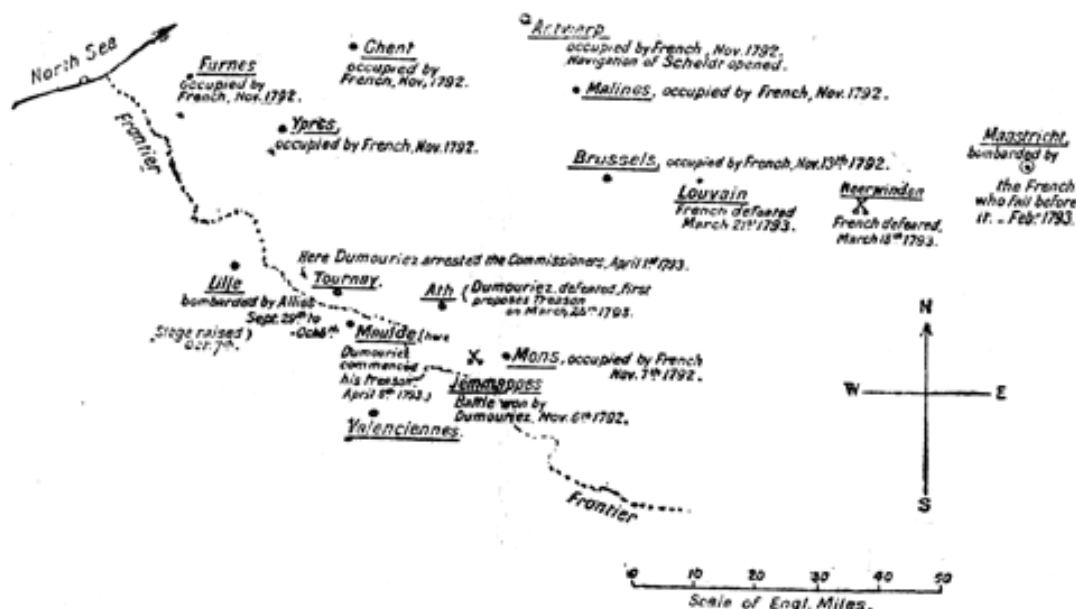
В течение целой недели нарастающего беспокойства и все большей неэффективности союзная армия висела, таким образом, без сил, хотя и находилась между французскими войсками и столицей. Дюмурье умело поддерживал эту нерешительность, со всеми ее накапливающимися опасностями для противника, путем длительных переговоров, пока 30 сентября прусская и австрийская организации не выдержали напряжения, и их командиры не приняли решение об отступлении. Как мы теперь знаем, именно гений Дантона в основном организовал отступление того, что еще могло стать опасной силой вторжения. Именно ему принадлежит главная заслуга в том, что неразумному джингоизму не было позволено требовать испытания сил с захватчиком, что ему было позволено отступить со всеми своими пушками, цветами и обозом. Отступление было долгим и беспрепятственным, хотя и наблюдалось французскими войсками, которые незаметно сопровождали его, но крепко держали под контролем из Парижа. Прошло более трех недель, когда союзная армия, на которую Европа и французская монархия рассчитывали в деле немедленного урегулирования революции, вновь пересекла границу, и таким сомнительным и, возможно, необъяснимым образом первая кампания европейских держав против революции полностью провалилась.

ТРИ

После этого успеха Дюмурье перешел к тому, что с первого момента своего пребывания во главе армии было его личным планом, а именно - к вторжению в Низкие страны.

Чтобы понять, почему это вторжение не удалось и почему Дюмурье считал, что оно может быть успешным, мы должны оценить военное и политическое положение Низких стран в то время. В то время они составляли очень богатую и заветную часть австрийских владений; в последнее время они страдали от глубокого недовольства, достигшего кульминации в открытой революции, которая была вызвана узким и нетерпимым презрением императора Австрии к религии. От своей первой глупой политики преследований и конфискаций он, конечно, отступил, но чувства народа по-прежнему были настроены решительно против правительства в Вене. Примечательно, и отчасти благодаря давлению сильно протестантской и аристократической Голландии, расположенной к северу от них, что жители Австрийских Нидерландов сохранили в то время особую привязанность к католической религии. Революция была столь же антикатолической, как и австрийский император, но о преследованиях последнего бельгийцы (как мы их теперь называем) кое-что знали; преследований же первого они еще не научились бояться. Поэтому, по расчетам Дюмурье, вторгшись в эту провинцию австрийской державы, он будет сражаться на дружественной территории. Кроме того, она была удалена от политического центра

империи; следовательно, она была более или менее изолирована политически, и даже для военных целей связь с ней была не так проста, если только Австрия не могла рассчитывать на полное сотрудничество с Пруссией, которая уже так долго была ее беспощадным и упорным соперником.



Карта городов,

занятых французами в 1792 году и эвакуированных в марте 1793 года, с указанием мест сражений при Жемаппе и Неервиндене, а также места измены Дюмурье.

[Увеличить карту](#)

Однако, как ни благоприятны были обстоятельства для вторжения, необходимо было учитывать два фактора, сильно говорящих против французов: первый - это формирование их армии, второй - дух восстания против антикатолического правительства, которое доставило столько хлопот Иосифу II.

Из этих двух факторов самым важным был, конечно же, первый. Если бы французские войска были однородными, в хорошем духе и хорошо обученными, они могли бы удержать завоеванное; на самом деле они были очень неоднородными, значительная их часть была плохо обучена, и, что хуже всего, в них не было последовательной теории подчиненного командования. Люди, которые воображали, что подчиненное, то есть полковое, командование в армии может быть создано снизу и что боевые силы могут напоминать несколько расхлябанную и буйную демократию, маршировали рядом со старыми солдатами, которые всю свою карьеру провели в условиях беспрекословной дисциплины и подчиненного командования, которое пришло к ним неизвестно откуда и как бы по воле судьбы, и были фактически объединены с ними. Само по себе смешение двух столь разных классов людей в одном отряде было бы достаточно плохой проблемой, но что еще хуже, политические теории того времени способствовали военным ошибкам новых батальонов, хотя политики не осмеливались вмешиваться в ценную организацию старых.

Вторжение в Низкие страны началось с большого, хотя и несколько неофициального и неплодотворного успеха - победы при Жемаппе. Это было первое яркое и драматическое решающее действие, которое французы, всегда с нетерпением ожидавшие подобных новостей, получили за последние сорок-пятьдесят лет. Успехи в Америке против англичан,

хотя и были блестяще выиграны и прочно обоснованы, не давали поводов такого рода, и Фонтенуа был последней национальной победой, которую Париж мог вспомнить. Пожилые или старые люди этой осенью 1792 года были бы мальчиками или совсем юными, когда сражались при Фонтенуа. Поколение Революции с его военными аппетитами и склонностями еще почти не ожидало победы, хотя победа была для них желанной и как нельзя лучше соответствовала их нравам.

Поэтому можно представить, какой эффект произвело известие о Жемаппе на политический мир в Париже. Действие происходило недалеко от города Монс, в нескольких милях от границы, и заключалось в несколько неупорядоченном, но успешном наступлении через реку Эн. Потому ли, что австрийцы, располагая меньшими силами, пытались удержать слишком длинную линию, или потому, что пехота и даже новые французские добровольческие батальоны, еще не испытанные усталостью, оказались непреодолимыми в центре движения, - победа при Жемаппе была настолько полной, что попытки апологетов принизить ее значение только усиливают ее характер.

Однако, как и многие другие великие и, казалось бы, решающие действия, она не принесла долговременных плодов. Оба фактора, о которых я говорил выше, проявились сразу после этого успеха. Бельгия, действительно, была захвачена французами, но, наступая на нее с примерно восьмидесятитысячной армией, они не пытались сохранить традиции или примирить симпатии жителей. Едва Жемапп был завоеван, как в Монсе, соседнем укрепленном пограничном городе, сразу же заработал весь механизм революционного правительства. Церковная собственность подвергалась вторжению и периодическим грабежам, а французские бумажные деньги, о которых мы уже слышали, вливались в город, чтобы нарушить, а местами и разрушить прекрасную торговую систему, на которую Бельгия тогда, как и сейчас, полагалась.

Битва при Жемаппе состоялась 6 ноября 1792 года. Брюссель был взят 14-го, и в течение всей той зимы Низкие страны полностью находились в руках французов. Комиссары Конвента, хотя и наделили Бельгию республиканскими институтами, относились к ней как к завоеванной стране, и еще до наступления весны французский парламент проголосовал за ее присоединение к Франции. Эта аннексия, решимость парижских политиков сделать новое бельгийское правительство республиканским и антикатолическим, жестокое обращение с Церковью в оккупированной стране, растущая недисциплинированность и отсутствие сплоченности в его армии поставили Дюмуре́за в положение, которое становилось все более и более трудным по мере наступления нового, 1793 года. Следует помнить, что этот момент в точности соответствовал казни короля и последующему объявлению войны Франции или против нее в случае одной державы за другой по всей Европе. Тем временем было решено, по глупости, перейти от трудной оккупации Бельгии к еще более трудной оккупации Голландии, и была запланирована осада Маэстрихта.

Момент был совершенно неподходящим для такого плана. Все исполнительные власти цивилизованного мира открыто или тайно, прямо или косвенно объединялись против революционного правительства. Первый приказ об отступлении поступил 8 марта, когда осада Маэстрихта стала невозможной и когда великие силы союзников вновь собрались, чтобы попытаться предпринять то, что должно было стать действительно серьезной атакой на революцию: нечто гораздо более опасное, нечто, что гораздо чаще достигало успеха, чем поход сравнительно небольших сил, которые были остановлены в Вальми.

Десять дней продолжалось отступление французов, когда 18 марта Дюмуре́е рискнул сразиться при Неервиндене. Его армия была разбита.

Поражение не было катастрофическим, отступление продолжалось в достаточно хорошем порядке, но гражданское население не понимает ничего, кроме слов "поражение" и "победа"; оно может оценить битву, а не кампанию. Известие о поражении, пришедшее в момент кризиса в парижской политике, было решающим; оно вызвало серьезные сомнения в верности Дюмурьева революционному правительству, пошатнуло его популярность среди тех, кто продолжал верить в него, а сам генерал не мог не считать, что материал под его командованием стремительно ухудшается. До конца месяца армия оставила все свои завоевания, и 27-го числа был достигнут Валенсьенн на территории Франции. Наступление на Бельгию полностью провалилось.

В этот момент произошел один из тех политических актов, которые так сильно нарушают чисто военную картину революционных войн. Дюмурье, во главе своей армии, которая, хотя и отступала и терпела поражение, все еще была цела, решился на то, что потомки справедливо назвали изменой, но что для его собственного ума должно было казаться не более чем государственной мудростью. Он предложил договориться с врагом и совместным маршем на Париж восстановить монархическое правительство и положить конец тому, что казалось ему, как солдату, совершенно безнадежным положением. Он, конечно же, считал, что французская армия не сможет победить захватчика в суматохе 1793 года. Он видел, что его собственная жизнь находится под угрозой только потому, что он потерпел поражение. Он не терпел нарастающего энтузиазма или бреда политической теории, которая отправила его в путь, и еще до того, как он достиг французской территории, начались его переговоры с Кобургом, австрийским командующим. Они длились долго. Дюмурье согласился отдать пограничные крепости французов в руки противника в качестве гарантии и залога, и 5 апреля все было готово к союзу двух вооруженных сил.

Но как измена Дюмурьева, в военном смысле, ненормальна и нарушает общую картину кампании, так и действия его армии.

Сомнительный момент общего командования, которое носит политический характер и может быть непопулярным среди рядового состава, заключается, конечно, в отношении командиров частей, а они единодушно отказались подчиниться приказам своего начальника. Было известно, что Дюмурье был вызван в коллегию Конвента, который направил комиссаров для его задержания. Он арестовал комиссаров и передал их в качестве заложников и пленников Кобургу. Так далеко от того, чтобы Дюмурье в критический день передать свои силы врагу или сделать их частью союзной армии для похода на столицу, он был вынужден бежать 8 апреля; все, что исчезло с ним, считая многих, кто позже дезертировал обратно под французские знамена, было менее тысячи человек - и эти иностранные наемники.

Последствия этого странного отрывка для политической истории того времени мы уже видели. Его последствия для военной истории были непрямыми, но глубокими. Французские войска, какими бы они ни были, все еще оставались целыми, но ни одному генералу Париж не мог в будущем доверять, и стимул, который нации в критические моменты вторжения и опасности во время внешней войны ищут в патриотизме, в предложении высокого жалованья солдатам и почестей и состояния их командирам, французы теперь искали в необычном, новаторском и ненормальном эксперименте Террора. Командование на границе в течение 1793 и первой половины 1794 года, в течение критических четырнадцати месяцев, которые решили судьбу революции и переломили ход войны в пользу французов, было задачей, выполняемой под влиянием смертной казни. Любая оплошность воспринималась как доказательство измены, и над каждым общим движением нависала угроза гильотины.

Теперь нам предстоит проследить более чем годовой период борьбы, ненормально организованной с французской стороны и в конце концов увенчавшейся успехом благодаря гению великого организатора, некогда солдата, а теперь политика, Карно. Французы добились успеха благодаря непоколебимой убежденности, которая позволила политическим лидерам пойти на все крайности в своем стремлении спасти Революцию; благодаря особой физической выносливости, которую продемонстрировала их армия, и, наконец, конечно, благодаря некоторым случайностям - ведь случайность всегда будет определяющим фактором в войне.

Весна 1793 года, апрель и май, образуют первый кризис революционной войны. Предстоящая атака носит всеобщий характер и кажется абсолютно уверенной в успехе. За исключением броска при Жемаппе, где менее тридцати тысяч австрийцев были прорваны превосходящим по численности потоком (хотя и там они были явно плохо организованы), революционным армиям не сопутствовал успех. Их состояние даже на взгляд обывателя было плохим, а на взгляд эксперта - безнадежным. Не было никакого единства в направлении, в дисциплине рядов были огромные повреждения, как большие дыры, прорванные в какой-то гнилой ткани. Даже против сил, уже мобилизованных против нее, она оказалась бессильной, и можно было считать само собой разумеющимся, что в результате действий, больше напоминающих полицейскую работу, чем настоящую кампанию, союзники достигнут Парижа и вскоре будет восстановлено нечто, напоминающее старый порядок. Остается только проследить, как эти ожидания оправдались.

Ситуацию на данный момент лучше всего можно понять, взглянув на эскиз карты на с. 178. Зимой 1792-93 гг. были предприняты два больших французских наступления: одно - северное, которое мы только что подробно описали, - захват Бельгии; другое - восточное, вплоть до Рейна и города Майянса. Оба провалились. О неудаче в Бельгии, кульминацией которой стала измена Дюмурье, мы уже читали. На Рейне (где Майенс был аннексирован французским парламентом так же, как и Бельгия) активная враждебность населения и скопление организованных сил союзников имели тот же эффект, что и в Низких странах.

Именно 21 марта 1793 года пруссаки перешли Рейн у Бахараха, и в течение этой недели французский командующий Кюстин начал отступать. Первого апреля он снова оказался на французской территории, оставив гарнизон Майенса, насчитывающий более двадцати тысяч человек, держаться изо всех сил; через две недели пруссаки окружили город и начали осаду.

На северо-восточном фронте, протянувшемся от Арденн до моря, складывалась похожая ситуация. Там между союзниками и Парижем стоял барьер из крепостей, и предстояло провести серию осад, соответствующих осаде Майенса на востоке. Практически одновременно с осадой Майенса, 9 апреля, был сделан первый шаг в выполнении этой военной задачи: союзники продвинулись между крепостью Конде и крепостью Валансьенн. В дальнейшем австрийцы под командованием Кобурга вместе с союзниками, которые должны были достичь его, должны были сократить пограничные крепости одну за другой и, когда коммуникации будут обеспечены, двинуться на Париж.

Здесь читателю, не знакомому с военной историей, необходимо обратить внимание на два момента, по которым мало что из современной исторической литературы может ввести его в заблуждение. Первый заключается в том, что как в долине Рейна, так и на бельгийской границе силы союзников по своей численности и организации были признаны

подавляющими. Второе - ни одному компетентному командиру на месте не пришло бы в голову оставить за собой гарнизон хотя бы одной невзятой крепости. На этих моментах важно настаивать, потому что политические страсти, разбуженные революцией, все еще настолько сильны, что люди вряд ли могут писать о ней без предрассудков и предубеждений, и две ошибки, постоянно присутствующие в описаниях военной ситуации весной 1793 года, заключаются в том, что, во-первых, союзники были ослаблены польским вопросом, который в то время был активным, и, во-вторых, что задержка их командиров перед французскими крепостями была излишней.

Оба эти предположения выдвигаются с целью объяснить конечное поражение врагов революции: оба, как бы ни был велик авторитет, стоящий за ними, неисторичны и бесполезны. Французский успех был военным успехом, обусловленным определенными военными факторами, как преднамеренными, так и случайными, о которых речь пойдет ниже. Союзники сыграли свою роль так, как того требовало военное искусство; в конечном счете они потерпели поражение не из-за грубых и очевидных ошибок в политике или стратегии, как иногда притворяются историки, слишком мало разбирающиеся в военном деле, а из-за военного превосходства своих противников.

Правда, польский вопрос (то есть необходимость для австрийского и прусского правительств следить за тем, чтобы значение друг друга не уменьшилось в результате приближающихся аннексий дальнейших польских территорий с вытекающими отсюда ревностью и недоверием между Австрией и Пруссией) был очень важной чертой момента. Но делать вид, что это повлияло на военную ситуацию на Рейне или в Нидерландах, - плохая военная история.

Каждая кампания обусловлена ее политической целью. В данном случае политическим объектом был поход на Париж и его оккупация. После определения политической цели кампании рассчитывается численность и организация противника, и против него выставляются определенные силы. При этом не выставляется больше сил, чем необходимо: действовать подобным образом было бы в военном искусстве тем же, чем в коммерции является уплата в два или три раза большей цены за товар. Силы союзников на Рейне и в Нидерландах были, по мнению всех авторитетов того времени, вполне достаточными для их цели; и более чем достаточными: настолько более чем достаточными, что отношение того военного мнения, которое должно было встретить атаку, то есть профессионального военного мнения французских республиканских солдат, заключалось в том, что ситуация была отчаянной, и ее не пытались встретить иначе, как с неистовым и, как бы сказать, иррациональным энтузиазмом.

Второй момент, так называемая "задержка", связанная с осадами, предпринятыми союзниками, доказывает, когда он выдвигается, недостаточное знакомство с современными условиями. Любая крепость со значительным гарнизоном, оставшаяся не взятой, означала бы разрушение австрийских или прусских коммуникаций, причем разрушение в тот момент, когда австрийские и прусские войска фактически продвигались по отчаянно враждебной стране. Кроме того, при действиях против сил, полностью уступающих в дисциплине и организации, не взятая крепость - это убежище, которое нужно постараться уничтожить. Броситься в такое убежище всегда будет стоять перед командиром этих уступающих сил как последнее средство. Это убежище, которым он обязательно воспользуется в конечном итоге, если ему это будет позволено. А когда он им воспользуется, это будет означать бессрочное выживание вооруженной организации в тылу наступающих захватчиков. Если мы хотим понять эту решающую кампанию, изменившую мировую историю, мы должны сделать вывод, что Кобург поступил совершенно правильно, осаждая одну крепость за другой,

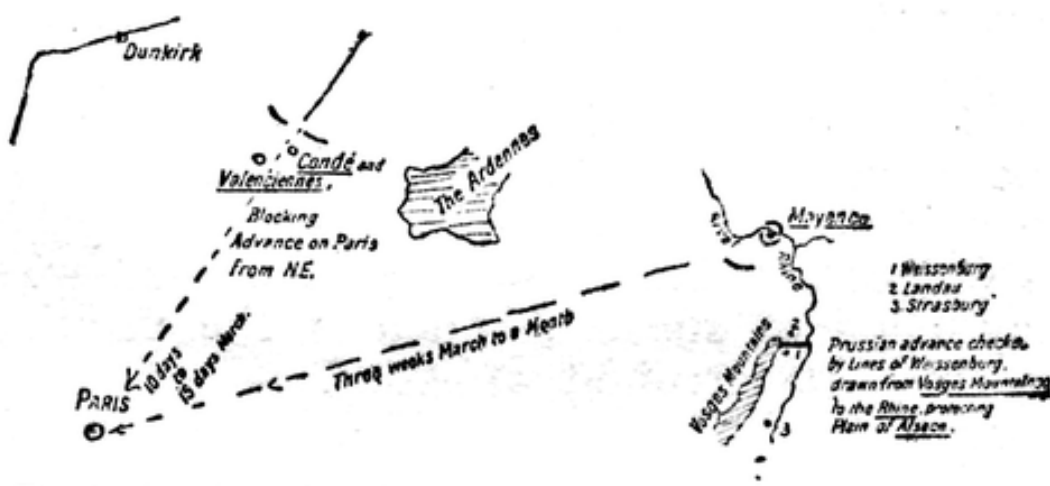
прежде чем начать то, что все ожидали как неизбежно успешное наступление на Париж. Отчаяние французов, сдававших один город за другим, является достаточным доказательством безупречности его суждений.

Таким образом, мы подходим к военной проблеме 1793 года, имея перед собой следующие две области: 1.

1. На северо-востоке - наступление на Париж, путь к которому преграждает четырехугольник крепостей: Монс, Мобёж, Конде и Валансьенн, а также вспомогательная крепость Лекеснуа по соседству с последней. Монс находится в руках австрийцев со времени отступления Дюмуре; Конде только что отрезан от Валансьена наступлением Кобурга, но еще не пал; Валансьен и соседний Лекенуа еще целы, как и Мобёж. Все они должны быть разрушены, прежде чем начнется наступление на Париж. За этими крепостями находится французская армия, неспособная пока атаковать командование Кобурга с надеждой на успех. Таково положение на последние две недели апреля.

2. Тем временем на Рейне осажден французский гарнизон в Майенсе; Кюстин, командующий французскими войсками в этом квартале, отступил к французскому городу Ландау и создает то, что в истории известно как Вейсsemбургские линии. Прилагаемая карта объясняет их значение. Располагаясь на двух преградах - реке справа и горах слева, они выполняли точно такие же функции, как и крепость, и эти функции мы только что описали. Пока эти линии не были проложены, весь Эльзас можно было рассматривать как крепость, защищенную с двух сторон горами и рекой, а с третьей - Вейсsemбургской линией.

Читатель, не знакомый с военной историей, может спросить, почему преграда не была проведена по линии наступления прусских войск на Париж. Ответ заключается в том, что нахождение войск за укреплениями в любом месте по соседству с линией коммуникаций в точности равносильно препятствию, лежащему прямо на этой линии. Ведь ни один полководец не может продвигаться вперед по линии своего наступления и оставить крупную неразрушенную армию вблизи одной из сторон этой линии, расположенную так, что она может выйти, когда он пройдет, и перерезать коммуникации, а ведь именно коммуникациями живет армия, особенно когда она идет по враждебной стране.



Стратегическая ситуация в начале лета 1793 года. Майенс осажден, Конде и Валансьенн вот-вот будут осаждены. Условия двойного наступления на Париж.

[Увеличить карту](#)

Таким образом, Кюстин за своей линией Вейссембурга и осажденным гарнизоном Майенса соответствовал барьеру крепостей на северо-востоке и задерживал продвижение пруссаков под командованием Вурмсера и Брунсвика со стороны Рейна, так же как Конде, Валансьен и Мобёж препятствовали продвижению Кобурга на северо-востоке. Такова в целом была ситуация на восточной границе в конце апреля 1793 года.

ЧЕТЫРЕ

Давайте сначала проследим за развитием северной позиции. Следует помнить, что вся Европа находилась в состоянии войны против французов. Австрийцы имели в качестве союзников голландские войска, которые присоединились к ним в этот момент, а также некоторые английские и ганноверские войска под командованием герцога Йоркского, которые также присоединились к ним.

В этот момент, когда Кобург оказался во все возрастающей силе, на него была предпринята пробная атака французов, которая не увенчалась успехом. Дампьер, командовавший всей этой французской "армией Севера", был убит, и на его место был послан Кюстин. Северная армия не стала, как, возможно, следовало бы, концентрироваться в единый корпус, чтобы встретить угрожающее наступление Кобурга; она постоянно пыталась отвлекать внимание, что было бесполезно, поскольку ее сил было недостаточно. То он предпринимал попытки отвлечь внимание справа, в направлении Намюра, то слева, вдоль морского побережья; и все эти отвлекающие маневры не достигали цели. До конца месяца Кобург, чтобы дать себе свободу действий для осады, которую он готовил, вынудил главные силы французов отступить на позиции далеко за Валансьеном. Сразу после этого успеха Кобурга Кюстин прибыл, чтобы принять командование на бельгийской границе, а его место на Рейне занял Гушар.

Кюстин был очень способным командиром, но крайне неудачливым. Его план был правильным: сосредоточить все французские силы (отказавшись от Рейна) и таким образом сформировать армию, достаточную для того, чтобы справиться с армией Кобурга. Правительство не пошло ему навстречу, и он сразу же посвятил себя реорганизации только Северной армии. Июнь и половина июля были заняты этой задачей.

Тем временем австрийцы начали осадные работы, и Конде стал первым объектом их внимания. 10 июля Конде пал. Тем временем Кюстин был отозван в Париж, а Валансьен был инвестирован. Кюстина сменил Килмейн, генерал ирландского происхождения, который удерживал свою позицию недолго и не смог ничего предпринять, пока удерживал ее. Силы союзников постоянно увеличивались. Численность войск, находившихся в распоряжении Кобурга, свободного от дел по осаде Валансьена, уже превышала все необходимые для этого силы. И еще пятнадцать тысяч гессенских войск прибыли сюда, когда исход осады был под вопросом. Это огромное преимущество в численности позволило ему избавиться от главных французских сил, которые все еще находились перед ним, хотя и не досаждали ему всерьез.

Эти силы находились к юго-западу от Валансьена на расстоянии примерно одного дня марша. Он рассчитывал захватить ее с помощью своих английских и ганноверских союзников под командованием герцога Йоркского, но поход этого генерала не удался. Расстояние оказалось слишком большим для его войск жаркую летнюю погоду, и французы смогли отступить за линию Скарпе и сохранить свою армию в целостности и сохранности.

Таланты герцога Йоркского были патристически преувеличены во многих трактатах. Он всегда терпел неудачи, и эта была одной из самых громких его неудач.

Кильмейн едва успел вырваться из Йорка, расположить свою армию за Скарпом и занять безопасное положение, как его, в свою очередь, лишили командования, а Гушар был взят с Рейна, как и Кюстин, и поставлен во главе армии Севера. Не успела главная французская армия занять эту безопасную позицию, как пал Валансьенн. Он пал 28 июля, и его падение, хотя оно было неизбежным и, можно сказать, само собой разумеющимся для военных, стало самым тяжелым ударом, который был нанесен. Не осталось ничего важного, что могло бы преградить путь армиям союзников, кроме Маубежа.

Примерно в тот же момент произошли три очень важных изменения в общей военной ситуации, которые читатель должен отметить, чтобы понять, что последует дальше.

Первое - это внезапно возникшая серьезная внутренняя угроза, противостоящая республиканскому правительству; второе - приход к власти Карно; третье - английская диверсия в Данкерке.

Серьезной внутренней угрозой, с которой пришлось столкнуться правительству Республики, стало широкомасштабное восстание, о котором говорилось в предыдущей части этой книги. действия парижских радикалов против жирондистов подняли целые районы в провинциях. Марсель, который с апреля проявлял признаки недовольства и начал собирать местные реакционные силы, поднял восстание. Восстали Бордо, Ним и другие крупные южные города. Лион восстал в конце мая и убил якобинского мэра города в период между падением Конде и падением Валансьена. Войско, поднятое Марселем против Республики, было разбито на поле боя лишь за день до падения Валансьена, но великий морской порт так и не был занят правительственными войсками. Поход нормандцев на Париж также не увенчался успехом в период между этими двумя датами - падением Конде и падением Валансьена. Нормандская кора оказалась хуже, чем норманнский укус; но войска находились так близко к столице, что занимали очень большое место в заботах того времени. Восстание венецов, хотя его триумфальное продвижение было остановлено перед Нантом за две недели до падения Конде, было еще энергичным, и ужасные репрессии против него едва начались. Хуже всего, или, по крайней мере, хуже всего, после восстания Лиона, было дезертирство Тулона. Тулон восстал за два дня до падения Валансьена и был готов отдать себя (как, в конце концов, и сделал) под оккупацию английского флота.

Даты, указанные в таком порядке, могут несколько запутать читателя, и поэтому я кратко изложу общее положение внутренней опасности следующим образом: Человек во французском лагере на Шельде, прислушивающийся к орудиям перед Валансьеном в пятнадцати милях от него и ежечасно ожидающий их молчания как сигнала о сдаче города, услышал бы из одного сообщения за другим, как Марсель все еще сопротивляется правительству; как контрнаступление против успешных вендийцев только сомнительно началось (весь июль был полон катастроф в этом квартале); как Лион яростно добивается успеха в своем восстании и осмелился предать смерти мэра города-республиканца; и что великий арсенал и порт Тулон, французский Портсмут на Средиземном море, опротивел правительству и собирается принять английский флот. Единственным утешением для него было бы известие о том, что поход нормандцев на Париж провалился, но он все еще находился под впечатлением от него и от убийства Марата нормандской женщиной.

Вот картина той внезапной внутренней борьбы, которая совпадает с этим моментом революционной войны, моментом падения Конде и Валансьена и обнажения границы.

Второй момент, приход Карно в Комитет общественной безопасности, который уже затрагивался в политической части этой работы, имеет настолько преобладающее военное значение, что мы должны рассмотреть его и здесь.

Старый Комитет общественной безопасности, как мы помним, достиг конца своего законного срока 10 июля. Это был Комитет, которым управлял мудрый Дантон. В состав нового Комитета не вошел Карно, но военный гений этого человека уже был известен. Он происходил из того крепкого среднего класса, на котором держится история современной Европы; бургундец по происхождению, убежденный республиканец, он был возвращен в Конвент и голосовал за смерть короля; сапер до революции, хорошо владевший оружием и в общих чертах знавший военное дело, он был послан Конвентом в армию Севера по поручению, видел ее слабости и наблюдал за ее экспериментами. По возвращении он не сразу был выбран на должность, на которой ему предстояло вести революционную войну. Только 14 августа он получил временное место в Комитете, которое его таланты очень скоро сделали постоянным. Он получил это место лишь в качестве временной замены одиозному и некомпетентному фанатику Сент-Андре, который на данный момент находился в командировке. Но со дня поступления в армию его превосходство в военных делах было настолько неоспоримым, что он стал практически диктатором, и первым его действием после того, как были намечены общие линии организации, было навязывание пограничным армиям необходимости концентрации. Он ввел то, что впоследствии унаследовал от него Наполеон, - тактическую затею "все на один бросок".

Следует помнить, что успех Карно заключался не в революционных открытиях в области военного искусства, а скорее в той огромной способности к разнообразным деталям, которая отличает организатора, и в глубоком сочувствии к национальному характеру. Он понимал презрение к параду, суровость или жестокость дисциплины, сознание огромной силы выносливости, которая заложена во французе, когда он становится солдатом; и он использовал это свое понимание.

Следует также помнить, что этот могучий гений в первые дни своей деятельности опирался на столь же могучий гений Дантона; ведь именно Дантон и он придали практическую форму тому закону о воинской повинности, благодаря которому Французская революция внезапно увеличила свои вооруженные силы почти на полмиллиона человек, восстановила римскую традицию и заложила основу той вооруженной системы, от которой сегодня зависит Европа. Когда Карно стал фактически главнокомандующим всех армий и получил возможность навязывать свои решения, в частности, армии Севера, которую он так недавно изучал в качестве комиссара, второй фактор описываемой мною ситуации был учтен.

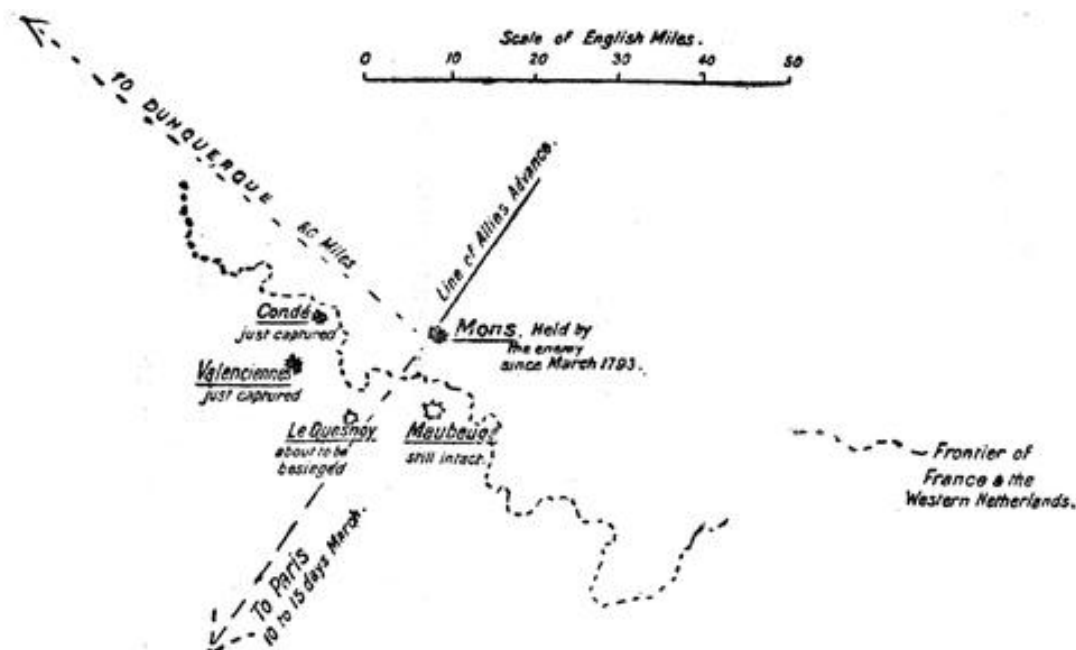
Третьим, как я уже говорил, была английская диверсия в Данкерке.

Последующая неудача союзников привела к горькой критике этого движения. Если бы союзники не потерпели неудачу, история отнеслась бы к ней так, как относились к ней современники. Силы союзников на северо-восточной границе были настолько велики, а их уверенность настолько надежна - особенно после падения Валансьена, - что предложение англичан на время отвести свои силы от Кобурга и занять Данкерк не вызвало уничтожающей критики. Восемнадцать батальонов и четырнадцать эскадронов императорских войск были фактически предоставлены герцогу Йоркскому для этой экспедиции. Более того, даже после того, как эта диверсия провалилась, было решено начать ее снова, когда падет последняя из других крепостей: настолько английский план захвата морского порта не понравился главнокомандующему союзников.

Однако это отвлечение на Данкерк оказалось ошибкой огромной важности. Попытка захватить город полностью провалилась, а победа, сопровождавшая ее отражение, оказала на французов то неопределенное, но сильное моральное воздействие, которое во многом способствовало их дальнейшим успехам.

Прилагаемая карта поясняет положение дел. Валансьен и Конде пали; Лекеснуа, небольшая крепость, примыкающая к Валансьену, еще не была атакована, но будет следующей по счету, когда момент будет признан благоприятным для похода к морю англо-ганноверского отряда с некоторым числом императорских союзников.

Читатель истории всегда должен помнить, что военные ситуации, как и ситуации на шахматной доске, скорее случаются, чем задумываются; и ситуация, сложившаяся в конце сентября на крайнем севере и западе от линии, которую французы пытались удержать против союзников, была стратегически именно такой. Когда герцог Йоркский настаивал на разделении сил союзников и атаке на Данкерк, никто из современников не предвидел катастрофы.



Состояние пограничных крепостей, преграждающих дорогу на Париж, когда было принято решение об экспедиции в Данкерк. Август 1793 года.

[Увеличить карту](#)

Кобург, конечно, предпочел бы, чтобы англичане остались с ним, и просил их об этом, но он не чувствовал никакой опасности из-за их временного отсутствия, да и сам, собственно говоря, не подвергался никакой опасности из-за этого.

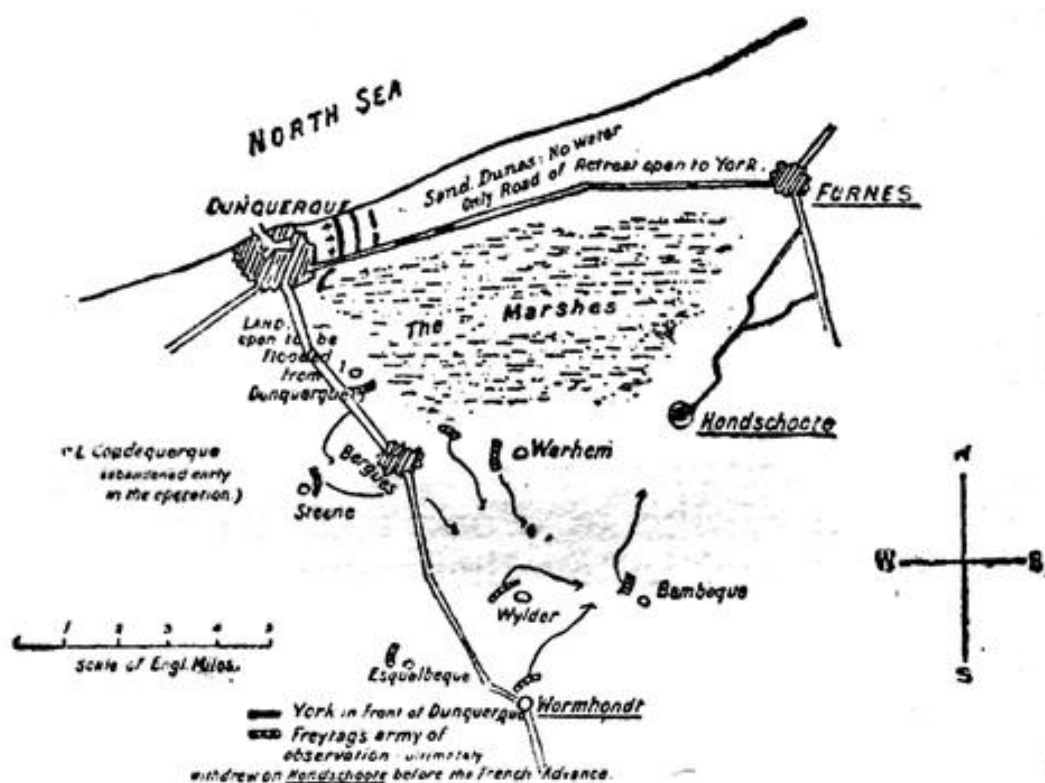
Опять же, хотя позиции, которые занял герцог Йоркский, прибыв в Данкерк, были плохими, ни его критики дома, ни его собственные подчиненные, ни враги не понимали, насколько они плохи. Как мы увидим в дальнейшем, это был своего рода дрейф, невезение в сочетании с плохим управлением, которые привели к этой британской катастрофе и (что было очень важно для ведения войны) к первому успеху в общих действиях, которым французы должны были льстить и ободрять себя в течение всего того рокового лета.

Герцог Йоркский отделил свои силы от кобургских незадолго до середины августа; кроме англичан, которых было не так уж много - 7000 человек, под его командованием находились 11000 австрийцев, более 10 000 ганноверцев и 7000 гессенцев. Таким образом, общая численность войск составляла почти 37 000 человек. Никто не мог себе представить, что, противостоя таким войскам, которые французы смогли выстроить в линию, и маршируя против таких жалких оборонительных сооружений, какими были в то время Данкерк, армия герцога не имела перед собой совершенно легкой задачи; и план, который заключался в

том, чтобы взять Данкерк и по возвращении присоединиться к австрийскому маршу на Париж, был разумным и осуществимым.

Важно, чтобы читатель твердо усвоил это и не читал историю в отрыве от будущих событий.

Следует отметить некоторые недостатки в первом проведении марша. Он начался 15 августа от Мартъенна до Менина и с самого начала продемонстрировал тот плачевный недостаток маршевой мощи, который командование герцога Йоркского проявляло на протяжении всей кампании.[6] Марш от Маршьенна до Туркунга - долгий дневной марш: герцогу Йоркскому потребовалось четыре дня; а если брать марш в целом, то девять дней ушло на преодоление менее сорока миль. Во время этого марша британские войска получили возможность научиться презирать своего противника: в Линселе, на фланге своего продвижения, они обнаружили несколько недисциплинированных мальчишек, которые сломались, как только на них набросились гвардейцы, и чье физическое состояние вызвало насмешки со стороны нападавших. После этой бесцельной и неплототворной стычки армия направилась к морскому побережью, и осада Дункерке была предпринята в условиях, которые станут понятны читателю из следующей карты.



Операции

вокруг Данкерка. Сентябрь 1793 года.

[Увеличить карту](#)

Прежде всего, необходимо запомнить дату 20 августа: в этот день армия, которой предстояло взять Дункерке, была разделена на две составные части. Первая, под командованием герцога Йоркского, должна была атаковать сам город; вторая, под командованием престарелого австрийского генерала Фрейтага, должна была следить за передвижением приближающегося противника и прикрывать осаждающие город силы. Два дня спустя герцог Йоркский покидал Фурнес, который он сделал своей базой для наступления, а Фрейтаг с величайшей легкостью вычистил перед собой французские посты, состоящие в основном из добровольцев, и начал занимать фланговые позиции к югу и востоку от Берга, которые прикрывали осаду Данкерка.

Через два дня, 24 августа, Фрейтаг снова занял Вормхаудт и Эскельбек, захватил дюжину орудий, сделал все, что мог, с французскими аванпостами и полностью окружил город Бергес. Уилдер был его штаб-квартирой. В тот же день, 24-го числа, герцог Йоркский с величайшей легкостью снял передовые посты французов перед Данкерком и запер неприятеля в городе, а сам сформировал осаждающие силы за его пределами, закрепившись на заранее выбранной позиции, упираясь правой стороной в море, а левой - в деревню Теттегем. В тот момент он находился примерно в 3 000 ярдов от укреплений в Данкерке.

Такова была ситуация на рассвете 25-го числа, когда все было готово к активным действиям. И здесь читатель должен обратиться к карте, чтобы узнать, что в конечном итоге оказалось губительным для ситуации.

Предположим, что Фрейтаг обогнул Бергес в позиции, показанной на карте; герцог Йоркский находится перед Данкерком, как его также показывает карта; эти два войска соприкасаются через дорогу и полосу местности, которая соединяет Бергес и Данкерк. Прикрывающая армия и осаждающие силы, которые она прикрывает, являются крылом одного объединенного корпуса; каждая взаимодействует с другой, каждая может поддержать другую на главном направлении, и хотя между одной и другой армией к востоку тянется линия болотистой местности - "meres", на которые указывает карта, - все же к западу от них существует соединение между двумя силами, и обе армии могут взаимодействовать по дороге Бергес - Данкерке.

Фактор, которым герцог Йоркский, возможно, пренебрег, заключался в возможности затопления всей этой равнинной страны вокруг, дороги, которой обладали французы в Данкерке, имея в своем распоряжении шлюзы. Они сразу же воспользовались этим: затопили низменные земли к югу от Данкерка в тот самый день, когда была завершена последняя диспозиция атакующих сил. Но еще более важным - и так и не объясненным - был отказ австрийцев от Кудекерка. В результате этой ошибки была потеряна сама главная дорога, стоявшая над половодьем, и из одной сильной армии союзники превратились в две слабые. Сообщение между территориями герцога Йоркского и Фрейтага стало невозможным, и именно этим разделением воспользовались французы, несмотря на свою плачевную организацию и еще более плачевный личный состав.

Они использовали это преимущество медленно. Гушар собрал под Касселем сорок тысяч человек, но прошло десять дней, прежде чем их удалось сосредоточить. Следует еще раз подчеркнуть и повторить, что при всей своей численности - она была в четыре раза больше, чем у Фрейтага, теперь уже изолированного - командование Гушара на две трети состояло из людей, которые едва ли были солдатами: добровольцы, как новые, так и недавние, плохо обученные призывники и так далее. Не было ни основы дисциплины, ни сил для ее поддержания; люди вели себя безобразно во всех делах форпоста, их презрительно отбрасывали небольшие австрийские силы со всех позиций, которые они занимали. При всем численном превосходстве попытка, которую собирался предпринять Гушар, была очень опасной: к тому же Гушар был нерешительным и неуверенным командиром. Кроме того, из сорока тысяч человек по меньшей мере четверть оставалась не у дел из-за неумелости и политического террора Думесного, лейтенанта Гушара справа.

Именно 6 сентября началось продвижение французов по всей линии; это было простое натиск меньшего числа на большее, причем большее число постоянно доказывало, что оно уступает австрийцам в военной ценности. Так, пленение самого старого Фрейтага в ночной стычке было немедленно отомщено штурмом деревни, возле которой он был пойман, и он

был взят вновь. В реальных боях и столкновениях сил командование Хоучарда не нашло ничего, что могло бы его воодушевить в ходе этих первых операций.

Австрийцы, отступая, сосредоточились и вскоре представляли собой единое целое: атаковать и вытеснить их было целью французского наступления, но эта цель едва ли была достигнута.

Произошло не только неожиданный успех этого наступления, но и первое решающее действие французов в длинной серии, которая завершилась двадцать лет спустя при Лейпциге.

Армия Фрейтага отступила к деревне Хондшот и стояла там в полном составе утром в воскресенье, 8 сентября. Гушар атаковал ее со значительно меньшими силами, но все же вдвое превосходящими силы защитников. Однако превосходство австрийских регулярных войск над французскими солдатами и волонтерами было настолько заметным, что в течение этого утра 8 сентября результат оставался сомнительным. К полудню, однако, дело было сделано, и враг отступил, что легко можно было превратить в разгром. Взглянув на карту, можно увидеть, что Гушар, если бы он обладал инициативой, свойственной многим его современникам, мог бы сразу же отбросить численно уступающие и сильно разбитые войска (они потеряли треть своих людей) вправо, а самому перейти к перерезанию коммуникаций герцога Йоркского и уничтожить его армию, которая лежала на безводных песчаных дюнах, где сейчас находится деревня Мало-ле-Бен. Гушар колебался; Фрейтаг бежал; герцог Йоркский, бросив свои осадные орудия в количестве сорока штук и большую часть тяжелого багажа, ночью поспешно отступил к Фурнесу, прямо через фронт французской армии, и избежал уничтожения.

Таким образом, битва при Хундшоте, как ее называют, сняла осаду Данкерка. Это было, как я уже сказал, первое успешное решающее действие, на которое могла рассчитывать Революция с момента ее крайней опасности и начала всеобщей европейской войны. Но это было совсем не то, что могло бы быть, если бы Гушар был готов рискнуть на смелый удар. Поэтому Гушар был отозван, приговорен к смерти и казнен Комитетом общественной безопасности, чей безжалостный деспотизм только и мог спасти нацию. Он остается единственным примером генерала, погибшего за военную некомпетентность после одержанной победы, и его казнь - прекрасный пример того, как военные нравы Комитета, и особенно Карно, отказывались принимать во внимание любые факторы в войне, кроме тех, которые способствуют военному успеху.

Карно и Комитет не терпели иллюзий, которые гражданская толпа питает по поводу отдельных действий: они видели кампанию в целом, и они знали, что Гушар оставил армии напротив себя в целостности и сохранности.

Возможно, его исполнение стало еще более уверенным благодаря постоянным плохим новостям с этого более важного участка границы - прямой линии австрийского наступления на Париж. Здесь уже два месяца назад пал Валансьенн, а также Конде. Лекеснуа, третий пункт заградительной линии, капитулировал 11 сентября, и известие об этой капитуляции достигло Парижа сразу после известия о Хондшоте. Теперь между союзниками и столицей не оставалось ни одной крепости, кроме Мобёжа. Кобург сразу же двинулся на него.

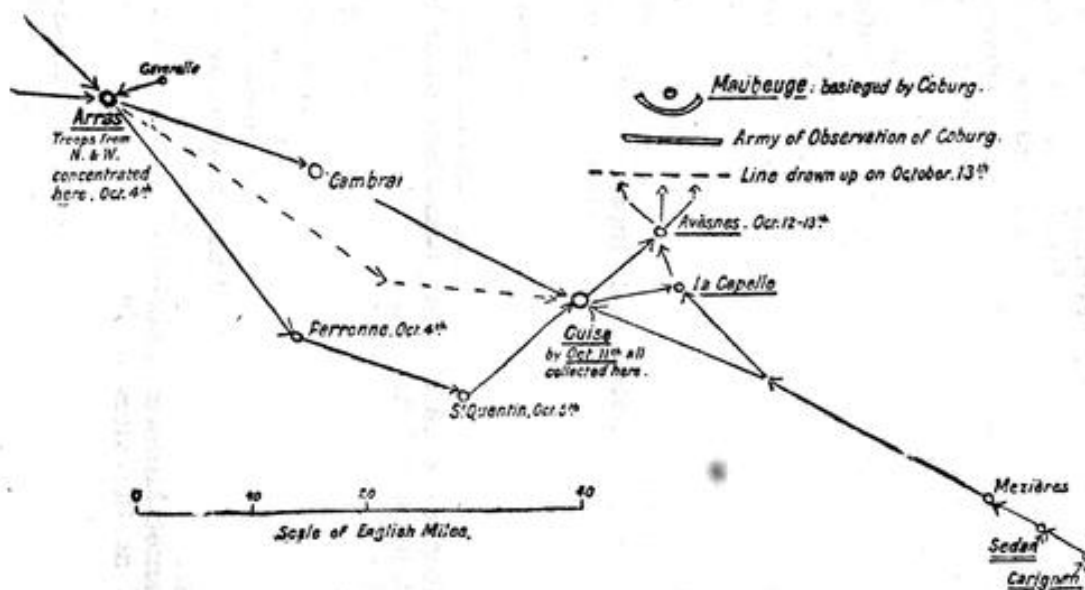
Он не только обладал тем огромным превосходством в качестве своих войск, на котором еще следует настаивать, но и имел численность три к одному, когда 28 сентября на рассвете перешел Самбр выше и ниже Мобёжа, а к полудню того же дня сдержал французскую армию в этом районе в пределах крепости.

Ситуация была крайне критической: Мобёж был плохо подготовлен к осаде; его почти не снабжали провизией; гарнизон был разношерстным и в целом плохого качества. В плане продовольствия он мог продержаться всего несколько дней, и, что хуже всего, за его спиной был постоянный пример необходимых и фатальных капитуляций, которыми было отмечено все лето. Приказ Комитета общественной безопасности его командиру был лаконичен: "Ваша голова ответит за Маубеж". После получения этого сообщения через линии фронта больше ничего не поступало.

Читатель, если он не знаком с военной историей, должен заметить, что в каждом действии и в каждой кампании есть какой-то один фактор позиции, оружия или времени, который объясняет результат. Каждый из них - это стержень или шарнир, на котором держится все. Именно от Маубежа зависела революционная война. Рискую чрезмерно упростить сложную историю, я бы назвал это главным условием для понимания ранних революционных войн: если бы пал Мобёж, дорога на Париж была бы открыта, и фокус был бы выполнен^[7] - и здесь мы должны снова рассмотреть влияние гения Карно на ситуацию.

Во-первых, он обеспечил цифры не на бумаге, а в реальности; Комитет, посредством декрета Собрания, деспотично "реквизировал" людей, животных, транспортные средства и припасы. Сбор стал реальностью. На северо-восток начали стекаться необработанные, но растущие массы людей. Именно они рассказали о себе под Хундшотом, именно им предстояло рассказать о себе перед Маубежем.

Во-вторых, если Комитет обеспечивал необходимую инициативу, то Карно обеспечивал необходимую военную индивидуальность. Его собственная воля и собственный мозг могли прийти к единому решению в один момент, и он это сделал. Именно он, как мы увидим, выиграл решающую акцию. Он выбрал Журдана, человека, чью причудливую военную карьеру мы с неохотой оставляем в стороне в столь кратком исследовании, как это, но, во всяком случае, любителя, и поставил его под командование Хушара над армией Северного фронта, а это командование было распространено сразу за Арденнами до моря. Он приказал (и Журдан послушался) сосредоточить людей со всей протяженной линии справа и слева в одном пункте - Гизе. Оставлять остальную часть границы слабой было серьезным риском, который можно было оправдать только очень быстрыми действиями и успехом: и то, и другое должно было последовать. Сосредоточение было осуществлено за четыре дня. Войска с крайнего севера не смогли подойти вовремя. Самые дальние из призванных находились за Аррасом, а между ними и Гизом было шестьдесят пять миль пути. Эта дивизия (типичная для многих), численностью не более восьми тысяч человек, выехала по полученному приказу утром 3 октября и вошла в Гиз в течение 6-го. Темп марша и синхронность этих движений несовершенных войск должны быть особо отмечены каждым, кто хочет понять, как удалась Революция.



Быстрое

восьмидневное сосредоточение перед Мобёжем. Октябрь 1783 года.

[Увеличить карту](#)

Вторая дивизия численностью более тринадцати тысяч человек следовала по параллельной дороге, и ее время было аналогичным. С другого конца его линии, с крайнего правого фланга, был вызван отряд под командованием Борегара, численностью чуть более четырех тысяч человек. Он послужит типичным примером на восточной стороне этой молниеносной концентрации. Он был собран у Кариньяна, городка в четырнадцати милях от Седана. По дороге она подобрала подкрепления и 11-го числа вошла в Фурми, пройдя за три с половиной дня всего семьдесят миль. С его прибытием концентрация была завершена, и не слишком скоро, поскольку вот-вот должна была начаться бомбардировка Мобёжа. С 11 по 15 октября армия была выдвинута вперед и выстроена в линию, в один день марша перед Гизом, с центром в Авесне и напротив прикрывающей армии Кобурга, которая закрепилась на длинном лесистом гребне с долиной Самбра справа и деревней Ваттиньи, расположенной на своеобразном мысе возвышенности, слева.

Австрийская позиция была разведана 14-го числа. 15-го числа была предпринята общая атака, которая была отбита с большим трудом. С наступлением темноты в этот день мало кто в армии мог поверить, что Маубеж удастся взять - это был вопрос нескольких часов.

Карно, однако, достаточно хорошо знал как достоинства, так и недостатки своих новых войск, войск большого сбора, усиленных частью регулярных войск, чтобы предпринять необычную попытку. Ночью он перебросил восемь тысяч из левого и центра на правую сторону, и утром 16-го числа его правая сторона перед австрийской левой у Ваттиньи к этому времени стала самым сильным пунктом всей линии.

Густой туман закрыл конец этой операции, как ночь закрыла ее начало, и этот туман продержался почти до полудня. Австрийцы на высотах не имели ни малейшего намека на преобразование, а Ваттиньи удерживали всего три полка. Если они и ожидали возобновления атаки, то только в центре или даже слева, где французы накануне понесли наибольшие потери.

Инициатива на войне - это, по сути, расчет риска, а при высокой инициативе риск велик. На что рассчитывал Карно (ведь Журдан был против эксперимента), когда переводил молодых людей ночью, так это на возможность получить от них активную работу после дневных

яростных действий, форсированных маршей предыдущей недели и в довершение всего бессонной ночи дальнейшего марша. Большинство из тех, кто был готов атаковать французский правый фланг с наступлением рассвета и разгоном тумана 16 октября, находились в пешем строю уже тридцать часов. Атака была произведена, и она была успешной. Неожиданная численность, сконцентрированная под Ваттини, заняла крайнюю позицию, удержала высоту и вышла, таким образом, на фланг всей австрийской линии, которая, если бы усилия агрессоров не истощили их, была бы раскатана всей своей длине. Как бы то ни было, австрийцы отступили через Самбр без сопротивления и в полном порядке. Осада Маубежа была снята, и на следующий день победоносная французская армия вошла в крепость.

Так был успешно преодолен переломный момент революционных войн.

Через два месяца были отвоёваны и другие ворота страны. В тот момент, когда Маубеж был освобожден, враг прорвал линии Виссембурга. Возможно, что немедленное и решительное взаимопонимание между союзниками могло бы охватить весь Эльзас; но такого взаимопонимания не было. Разрозненная "Рейнская армия" была приведена в некоторое подобие порядка, в частности, благодаря энтузиазму Хоше и молчаливому контролю Пишегрю. В конце ноября пруссаки заняли оборону под Кайзерслаутерном. Хоше три дня безуспешно бил по ним. Что действительно переломило ситуацию, так это потоки людей и материалов, которые поступали из реквизиций и сборов. Перед самым Рождеством противник эвакуировался из Гагенау. Ландау они все еще удерживали; но решающее сражение, разыгравшееся в Боксинг Дэй, настоящее солдатское сражение, определяемое штыком, решило судьбу союзников в этом пункте. Французы снова вошли в Виссембург, и Ландау был освобожден после четырехмесячной осады и проявления упорства, которое в немалой степени переломило ход войны.

Тем временем пришли новости о том, что последний из серьезных внутренних мятежей был подавлен. Тулон был вновь захвачен, английский флот изгнан; город, гавань и арсенал перешли в руки французов во многом благодаря науке молодого майора артиллерии (не капитана: я уже обсуждал этот вопрос в другом месте) Бонапарта, и это произошло за неделю до освобождения Ландау. Последняя растерянная орда Вандеи была отброшена от стен Гранвиля в Нормандии, к которому она скорее ошиблась и дрейфовала, чем отступала. Под Мансом 13 декабря она была разрезана на куски, а под Савенэ 23-го, за три дня до великой победы в Эльзасе, уничтожена. Длительная крестьянско-бандитская борьба, отчаянная, но которую трудно назвать партизанской, продолжалась весь следующий год за изгородами Нижней Бретани и Вандеи, но опасность для государства и Революции миновала. Таким образом, 1793 год закончился полным освобождением всей территории Республики, за исключением узкой полосы на бельгийской границе, полным господством над ней ее Сезара, Комитета общественной безопасности, двумя третями миллиона человек под оружием, и будущее великого эксперимента, очевидно, было обеспечено.

Причины этого чуда уже обсуждались и будут обсуждаться бесконечно. В первую очередь, они заключались в воссоздании сильной центральной власти; во-вторых, в сочетании огромного количества людей и безрассудного духа самопожертвования. Потери национальной стороны постоянно и значительно превышали потери союзников - в Эльзасе они были три к одному; и мы лучше поймем эту дуэль, когда осознаем, что за короткие восемь лет, прошедшие с начала войны до триумфа Наполеона при Маренго, на французской стороне пало убитыми и ранеными более семисот тысяч человек.

ПЯТЬ

История 1794 года - лишь следствие того, что мы только что прочитали. Именно небольшой участок бельгийской границы, который все еще находился в руках противника, определил характер кампании.

Вопрос решился только весной. Император Австрии достиг Брюсселя во второй день апреля, а через две недели представил свою армию. Противостоящая ему французская линия до конца месяца терпела небольшие, но постоянные поражения.

29-го числа Клерфейт потерпел поражение, которое привело к падению или, скорее, бегству небольшого гарнизона Менина. Через две недели Клерфейт был снова разбит при Кортрее; но все эти первые столкновения в кампании не имели решающего значения. Туркоинг должен был стать первым тяжелым ударом, который должен был начать улаживать дела, а Флерюс - закрепить их.

Ни одно сражение не может быть менее удовлетворительно описано в нескольких строках, чем сражение при Туркуэне, настолько разным оно казалось каждому из участников, настолько противоположны были планы того, что ожидалось с обеих сторон, и того, что произошло, настолько запутаны различные рассказы современников. Обвинения в измене, которые почти всегда возникают после катастрофы, и особенно катастрофы, постигшей союзные войска, особенно чудовищны, и могут быть отвергнуты: в частности, детская легенда, которая притворяется, что австрийцы желали поражения Англии.

Французы говорят, что превосходный форсированный марш и научное сосредоточение позволили им атаковать противника до того, как произошло соединение его различных сил. Союзники говорят (если они говорят за свой центр), что он был позорно брошен и не поддержан двумя крыльями; если они говорят за крылья, что центру нечего было наступать, когда он увидел, что два крыла не успевают скооперироваться.

По одной из версий, эрцгерцог Карл был выведен из строя приступом; лорд Актон придал этому забавному варианту свой весомый авторитет. Во всяком случае, произошло следующее.

В пятницу, 16 мая, союзники расположились вдоль реки Шельды: Турнэ был их центром, и герцог Йоркский командовал там главными силами; в пяти или шести милях к северу, вниз по реке, находился один край их линии в местечке под названием Варкоинг: там находился корпус ганноверцев. Левая часть, под командованием эрцгерцога Карла, была австрийской и достигла места в одном дне марша к югу от Турнэ под названием Сент-Аманд. Против союзников находились крупные французские силы, также занимавшие широкий фронт протяженностью более пятнадцати миль, центром которого был Туркуан, тогда еще деревня. Слева от него находилась крепость Куртрей. Позади французов, на севере страны, в направлении, противоположном линии союзников на Шельде, находились другие силы союзников под командованием Клерфайта. План заключался в том, что правые силы союзников должны были наступать на Мускрон и занять его. Центр союзников должен был наступать на Туркуан и Муво и занять их, а левая часть должна была пройти по верховьям реки Марк, форсировать мосты, пересекающие этот болотистый поток, и подойти к центру. Другими словами, предстояло атаковать всю французскую линию с юга, и пока это происходило, Клерфейт, находящийся к северу от французов, должен был переправиться через Лис и также атаковать.

В день 17-го числа произошло следующее: Левая часть союзников, шедшая из Сент-Аманда, подошла с опозданием на полдня; правая часть союзников заняла Мускрон, но была выбита оттуда французами. Центр союзников выполнил свою программу, достигнув к полудню Туркуана и его окрестностей и удержав свои позиции. К чести английского оружия, этот успех был достигнут силами, треть которых составляли британцы, а наиболее заметную штыковую работу в них выполнили гвардейцы. Тем временем Клерфэйт запоздал с продвижением и переправой через реку Лис, которая лежала между ним и его целью.



Туркуан. 16-18

мая 1794 года.

Неудача попытки союзников отрезать французов у Куртрэ от Лилля объясняется тем, что они не смогли синхронизировать свои действия. В полдень 17-го числа они должны были выстроиться в линию от А до В, а Клерфэйт - в С.

[Увеличить карту](#)

Поэтому, когда наступил вечер в первый день действий, взгляд на карту показал, что вместо одной сплошной линии, наступающей на французов от А до В, и северных сил, соприкасающихся с ней у С, союзное формирование представляло собой абсурдный выступ в центре, вызванный успехом смешанных и полубританских сил под командованием герцога Йоркского: успех, который не был поддержан на двух флангах. Подобный выступ в атакующей линии, на первый взгляд, губителен. Противнику достаточно стремительно

обрушиться на любой из флангов, и выступ может быть прорван. Французы были стремительны, и врыв в выступ состоялся. Сконцентрировав свои силы против одной центральной части союзников, они сражались три к одному.

Та самая способность, которая под Ваттиньи позволила им презирать сон и быть неутомимыми на марше, заставила их отправиться в путь еще до трех часов утра воскресенья, 18-го, и с рассветом они обрушились на центральные силы союзников, атакуя их со всех трех сторон.

Именно поэтому сражение называется битвой при Туркуэне, ведь Туркуэн был самым передовым пунктом, к которому подошел центр союзников. Немцы, находившиеся справа от герцога Йоркского в Туркуинге, почувствовали на себе первый удар. Сам герцог Йоркский со своими смешанными, наполовину британскими силами принял на себя удар сразу после этого, когда было еще раннее утро. Немцы в Туркуэне начали отступать. Силы герцога Йоркского, находившиеся слева от них, остались в изоляции: их командиру не следовало держаться так долго. Но оборона была выдержана с максимальной галантностью в течение того короткого времени, когда это было еще возможно. Отступление началось около девяти утра, и первые две мили держались организованно, но после этого начался разгром. Водители британских пушек разбежались, а орудия, оставшиеся без упряжек, преградили стремительный бег кавалерии. Их беспорядок сразу же передался гвардейцам и всей линии.

Даже в таком отчаянном положении порядок был восстановлен, в частности, гвардейской бригадой, которая, по-видимому, была сформирована первой, и движение, которое еще можно было назвать отступлением, было продолжено на юг. Самого герцога Йоркского преследовали от прясла к пряслу, и он спасся благодаря удаче, обнаружив мост через последний ручей, удерживаемый отрядом гессенцев. Так были уничтожены центральные колонны, которые между собой составляли не более трети всех сил союзников.

Клерфайт сначала продвинулся вперед, но слишком поздно, чтобы спасти центр, а затем отступил. Эрцгерцог Карл, находившийся слева, опоздал с маршем на помощь герцогу Йоркскому на четыре часа; правое крыло союзников не опоздало даже на это время: оно провело утро в упорядоченной артиллерийской дуэли с противостоящими ему французскими силами. К пяти часам пополудни было признано поражение и приказано общее отступление союзников.

Я уже говорил, что существует множество причин для объяснения катастрофы при Туркуэне, одной из немногих, когда британские войска были разбиты на континенте; Но, признаюсь, если бы меня попросили дать собственное объяснение, я бы сказал, что это просто из-за грубого отсутствия синхронности со стороны союзников, и что этим, в свою очередь, воспользовалась сила бдения и марша, которую французские войска, все еще уступавшие в большинстве военных характеристик, развили и поддерживали, и которую (что более важно) их командиры умели использовать.

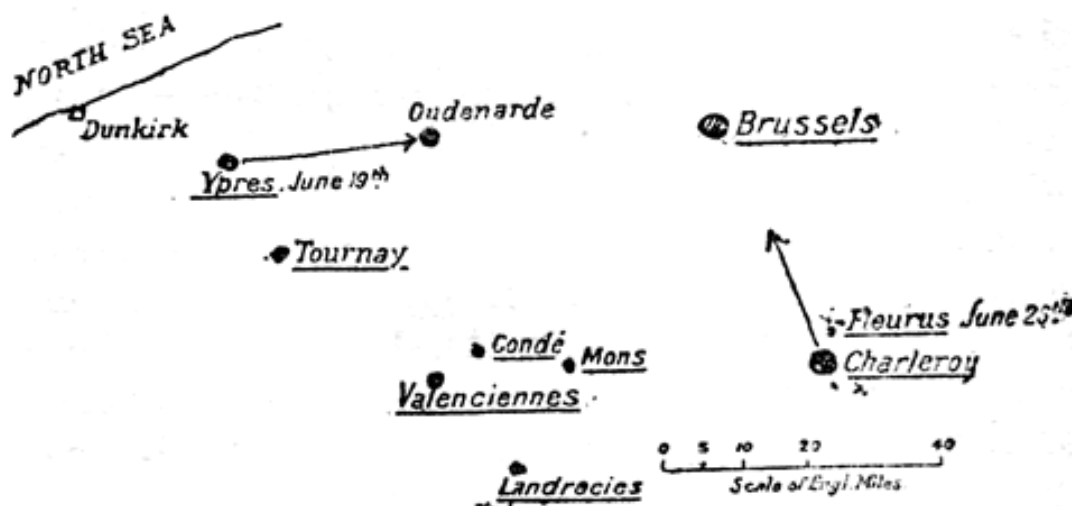
Этот тяжелый удар, нанесенный 18 мая, несмотря на успешную акцию, проведенную неделей позже, окончательно убедил императора в невозможности похода на Париж. Через одиннадцать дней, 29-го числа, в лагере Турнэ, куда отступила союзная армия, было объявлено, что император решил вернуться в Вену. Союзная армия действительно еще оставалась на этом фронте, но французы продолжали наседали на нее. И снова их численность принесла следующую и окончательную победу.

Вдали, на востоке той же линии, армия, известная в истории и в песнях как армия Самбре и Мёза, яростно пыталась перейти Самбре и повернуть линию союзников. Кобург укрепил свой

правый фланг напротив французского левого, но численность армии начала приводить его в замешательство. Энтузиазм Сен-Жюста, наука Карно решили победу на этом восточном участке линии.

Шесть раз проход через Самбр оказывался неудачным. К армии продолжали прибывать подкрепления, и седьмая попытка увенчалась успехом.

Шарлеруа, главная крепость, блокирующая проход по Самбре в этом месте, могла быть взята и была взята, когда однажды реку перешли французы. Он капитулировал через неделю. Но эвакуация Шарлеруа была еще только завершена, когда семидесятитысячный Кобург выступил на помощь городу.



Эффект Ипра,

Шарлеруа и Флерюса в полном отбрасывании союзников в июне 1794 года.

Ипр взят 19 июня французами, они маршируют на Уденарде и проходят его с 25 по 27 июня. Тем временем Шарлеруа также сдается французам, и когда сразу после этого австрийцы пытаются его освободить, они терпят поражение у Флерюса и отступают на Брюссель.

Таким образом, англичане в Турнэ и все союзные войска в Конде, Валансьене, Ландреси и Монсе оказываются под угрозой и должны сдаться или отступить.

[Увеличить карту](#)

Плато над городом, где решалась великая битва, известно как Флерюс, и именно 26 июня там произошло столкновение армий. Никогда еще столь равные силы не позволяли французам добиться успеха. До сих пор спасение страны заключалось в постоянном привлечении людей для восполнения их недостаточной подготовки и командования. При Флерюсе, хотя еще сохранялось некоторое преимущество на стороне французов, численность была почти равной.

Действие не определялось в течение десяти часов, и французский центр и левая сторона были почти потеряны, когда упорство резервистов и Марсо перед самой деревней Флерюс наконец решило его.

Последствия победы были окончательными. В то время как французская правая сторона продвигалась от Флерюса, французская левая сторона продвигалась от Ипра, и центр стал неприступным для союзников. Четыре французские крепости, которые противник все еще гарнизонировал в бельгийском "поясе", о котором я уже говорил, были взяты и перехвачены.

К 10 июля французы были в Брюсселе, англичане отбиты в Голландии, австрийцы отступили на Рейн, и успех революционных армий был обеспечен.

Однако пока все это происходило на суше, в войне появился фактор, который современное стремление к комфорту и, прежде всего, к коммерческой безопасности сильно преувеличило, но на который студенту будет полезно обратить внимание в должной мере. Этим фактором была военная слабость Франции на море.

В количественном отношении борьба велась с флотами в соотношении примерно два к одному, а к флоту Великобритании, уже вдвое превосходившему противника, нужно было добавить флоты союзников. Но численность не решала тогда и не будет решать в будущем вопрос морской войны. Чашу весов перевесило превосходство английской артиллерии. Это триумфальное превосходство было доказано в сражении 1 июня 1794 года.

Английский флот под командованием лорда Хоу атаковал французский флот, ожидавший конвоя с зерном в Бресте; силы соприкоснулись 28 мая, и сражение длилось три дня.

Достаточно двух примеров, чтобы доказать, насколько определяющим было превосходство британского огня. *Королева Шарлотта* в последнем бою оказалась между "*Монтань*" и "*Якобин*". У нас есть данные о потерях во время дуэли этих двух флагманов. *Королева Шарлотта* потеряла сорок два человека в короткой и яростной перестрелке, а "*Монтань*" - триста. Снова рассмотрим общие цифры. Численность экипажей с обеих сторон была почти одинаковой, но потери составили одиннадцать к пяти. Нельзя слишком часто повторять, что первоначальное преимущество, которое английский флот получил в великой войне, которое он сохранил и увеличил по ходу войны, и которое он сделал абсолютным при Трафальгаре, было преимуществом, главным образом, благодаря пушкам.

Читатель не должен ожидать от очерка, который заканчивается падением Робеспьера, какого-либо трактата, пусть даже краткого, о влиянии морской мощи в революционных войнах. В последние годы она была сильно преувеличена, и реакция, которая последует за этим преувеличением, может так же сильно преуменьшить ее. Она предотвратила вторжение в Англию, позволила изнурить и измотать французские войска на полуострове. Но она не могла решить судьбу Наполеона. Она была предопределена его просчетом в России и последующим поражением под Лейпцигом.

На скорый успех Революции и последующее становление европейской демократии, о которых только и идет речь на этих страницах, морская мощь не оказала существенного влияния.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[6] Кстати, следует отметить, насколько верно то, что это высшее военное качество является вопросом организации, а не физической силы войск; в наполеоновских войнах маршевая мощь английских войск часто оказывалась исключительной, и, возможно, величайшим из всех подвигов, совершенных небольшим корпусом, был подвиг легкой бригады, шедшей на помощь Веллингтону при Талавере.

[7] Справедливости ради я не должен пренебрегать огромной массой мнений, начиная с Жомини и заканчивая классическим трудом мистера Фортескью о британской армии, в которых утверждается, что союзникам оставалось только замаскировать пограничные крепости и быстро продвигать свою кавалерию по Парижской дороге. Историческая

гипотеза никогда не может быть чем-то большим, чем вопросом суждения, но я признаюсь, что эта точка зрения всегда казалась мне игнорирующей - как чисто военные историки, особенно иностранные, вполне могли бы игнорировать социальное состояние "93-го". Кавалерия - самое слабое из всех видов вооружений, с помощью которого можно справиться со спорадическим, неорганизованным, но решительным сопротивлением. Прохождение через густонаселенную страну Парижской дороги можно сравнить с форсированием открытого города, а на кавалерию *в этом деле* рассчитывать не приходится. Что касается движения армии в целом без полной безопасности ее коммуникаций, то этот вопрос даже не стоит обсуждать; кроме того, следует помнить, что в момент начала такого продвижения немедленное сосредоточение с севера обрушилось бы на плохо охраняемые линии снабжения. Можно считать, что Кобург знал свое дело, когда садился перед этой, последней из крепостей.

VI

РЕВОЛЮЦИЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Последним и самым важным аспектом Французской революции для иностранного и, в частности, английского читателя является антагонизм, возникший между ней и церковью.

Поскольку это самая важная, то и самая практическая из исторических проблем, которые Революция ставит перед студентом; ведь противодействие церковной организации во Франции было одновременно и самым глубоким, с которым пришлось столкнуться Революции, и самым активным в своих методах, и единственным, которое с течением времени набирало силу. Вряд ли можно сказать, что Революция, по крайней мере, во Франции, достигла бы своей цели и создала бы однородную, централизованную демократию, если бы не возникла эта великая ссора между Республикой и Церковью; и можно с полным правом противопоставить готовую податливость людей к политическим предложениям и легкую историю их учреждений там, где люди ничего не знали о Церкви, тем великим бурям, которые возникают и фундаментальным ссорам, которые оспариваются там, где люди знакомятся с горячими истинами католицизма.

Наконец, борьба между католической церковью и революцией - не только самая важная и самая практическая, но и по несчастливому стечению обстоятельств самая трудная для понимания из всех вопросов, представленных нам великой переменой.

В этой книге мы видели, что один из разделов революционной истории, второй по важности, возможно, после религиозного, также был труден для понимания - это военный отдел. И мы увидели (или, по крайней мере, я предположил), что трудность отслеживания военных удач Республики была обусловлена массой деталей, техническим характером информации, которую нужно было получить, и естественным незнанием широкого читателя с элементами военной науки. Другими словами, только точное знание большого количества фактов, правильное их расположение в порядке военной важности и взаимосвязь большого количества разрозненных действий и планов позволят нам понять функцию армий в развитии и становлении современного государства через революционные войны.

Теперь в этой второй и более важной проблеме, проблеме функции, которую играет религия, нам может помочь только совершенно противоположный метод.

Мы должны изучить поле в целом, и еще более в целом, мы должны забыть о деталях, которые здесь только сбивают с толку, и увидеть в самых общих чертах, какие силы были на самом деле в конфликте, почему произошел их конфликт, по каким пунктам этот конфликт был жизненно важным. Любой более конкретный план приведет к тому, что мы, как и многие тысячи спорщиков, окажемся в пустой инвективе в адрес той или иной стороны, пока не увидим ничего, кроме массы измены со стороны священников и резни со стороны демократов.

Если бы люди попытались распутать клубок, анализируя документы Ватикана или французских архивов, то, очевидно, не нашли бы ничего, кроме множества мелких, низменных и часто личных расчетов; или, если бы они попытались взять местный образец борьбы и проследить ее в одном отделе мысли, то наткнулись бы только на водоворот конфликтов без малейшего намека на мотивы, которые лежат в их основе.

Контраст между военной и религиозной проблемой Французской революции подобен контрасту между геологическим строением и топографическими очертаниями местности. Чтобы понять первое, нужно бурить и копать, брать многочисленные образцы почвы и подвергать их анализу, знакомиться с деталями в самых глубинах. Но для второго, чем более общей будет наша точка зрения, чем шире наш взгляд и чем более всеобъемлющими будут наши суждения, тем точнее мы постигнем те знания, которые поставили перед собой целью.

Итак, мы должны подойти к нашему делу, задав в самом начале самый общий вопрос: *"Существовал ли необходимый и фундаментальный спор между доктринами революции и католической церкви?"*

Те, кто плохо знаком с обеими сторонами и, следовательно, плохо подготовлен к ответу, обычно отвечают на этот вопрос с уверенностью в утвердительном ответе. Французский (и тем более нефранцузский) республиканец, который, возможно, по случайности своей жизни не был знаком с католической церковью, не имел близкого знакомства с католическим персонажем, не читал католической философии и, возможно, даже случайно не видел ни одного внешнего католического обряда, не колеблясь, отвечает, что церковь является необходимым врагом революции. Опять же, *эмигрант*, богатая женщина, затворник, любой из многих современных типов, для которых демократическая теория Революции была полной новинкой, а сегодня богатые семьи, принадлежащие к этой традиции, так же безоговорочно отвечают, что Революция - необходимый враг Церкви. Этот ответ кажется вполне достаточным для торийского сквайра в Англии или Германии, который может быть католиком по рождению или по обращению; и он кажется столь же очевидным для (допустим) демократического члена какой-нибудь протестантской церкви в одной из новых стран.

С исторической и логической точек зрения, а также с теологической, заблуждаются те, кто утверждает необходимый антагонизм между Республикой и Церковью. Те, кто лучше всего подходит к этой проблеме благодаря своим знаниям как о том, что пыталась сделать Революция, так и о том, что такое католическая философия, находят, что в соответствии с их знаниями трудно или невозможно ответить на этот фундаментальный вопрос утвердительно. Они не могут назвать Революцию необходимым врагом Церкви, равно как и Церковь демократии.

Более того, умы одновременно наиболее активные и наиболее образованные - это те самые умы, которые затрудняются объяснить, как могла возникнуть подобная ссора. Сама история Франции полна имен тех, для кого мотивом политики было не столько примирение Революции и Церкви, сколько утверждение, что между ними не существовало реальной ссоры; и почти пропорционально знанию человека о своих собратях по католическому

обществу, почти пропорционально тому, что на главный вопрос, который я задал, такой человек ответит отрицательно. Человек, знающий и Веру, и Республику, скажет вам, что нет и не может быть никакой необходимой или фундаментальной причины, по которой конфликт должен был возникнуть между европейской демократией и католической церковью.

Когда мы исследуем тех, кто занимается самой глубокой и абстрактной стороной спора, мы обнаруживаем то же самое. Невозможно для богослова или даже для практического церковного учителя указать пальцем на политическую доктрину, важную для Революции, и сказать: "Эта доктрина противоречит католической догме или католической морали". И наоборот, республиканец не может указать пальцем на вопрос церковной дисциплины или религиозной догмы и сказать: "Этот католический пункт противоречит моей политической теории государства".

За последние сто лет тысячи активных людей с любой стороны были бы готовы найти такой вопрос, но он так и остался неразрешенным. Одним словом, только те демократы, которые мало знают о католической церкви, могут сказать, что по своей природе она запрещает демократию; и только те католики, которые имеют смутное или несовершенное представление о демократии, могут сказать, что по своей природе она антагонистична католической церкви.

Многое, чему учит чисто мирская теория одной, безразлично для трансцендентной и сверхъестественной философии другой. В некоторых пунктах, где есть контакт (например, в концепции достоинства человека и равенства людей), есть согласие. Итак, республиканец не может по своей теории преследовать Церковь; Церковь не может по своей теории отлучить республиканца.

Почему же, спрашивается, на практике возник такой яростный и такой огромный конфликт, конфликт, активность и последствия которого сегодня не сужаются, а расширяются?

На этот второй вопрос, который является лишь менее общим, чем первый, можно ответить одним из двух способов.

Можно сказать, что действия людей разделены не теориями, а, так сказать, духовными атмосферами. Согласно этой точке зрения, люди действуют под влиянием импульсов, не идеальных, а реальных: импульсов, которые затрагивают огромное количество людей, но по своей структуре соответствуют сложным, но единым импульсам отдельной личности. Таким образом, хотя между теологией католической церкви и политической теорией революции нет никакого конфликта, однако между *личностями*, которых мы называем революцией и церковью, и между животворящими принципами, которыми живет каждая из них, может существовать необходимый и фундаментальный конфликт. Это один ответ, который можно дать, и он дается.

Можно дать совершенно другой ответ и сказать: "Между теологией католической церкви и политической теорией Революции не было никакого противоречия; Но глупость этого государственного деятеля, неправильное составление этого закона, неверное представление о таком-то и таком-то учреждении, совпадение того, что война разразилась в такой-то и такой-то момент и повлияла на людей таким-то и таким-то образом - все эти материальные случайности породили непонимание между двумя великими силами, привели к конфликту людей-офицеров и человеческих организаций, которые ими руководили; а конфликт, однажды возникнув, питается и растет из своей собственной сути."

Теперь, если эта первая форма ответа на поставленный нами вопрос, хотя она и достаточна для того типа философии, который ее использует, хотя она, безусловно, объясняет все человеческие ссоры, и хотя она, в частности, удовлетворяет определенную современную школу мысли, очевидно, что история, так называемая, не может иметь с ней дело.

Вы можете сказать, что Революция была выражением духа, гораздо более реального, чем любая теория, что этот дух не более поддается анализу или определению, чем личность отдельного человека, и что эта реальность находилась в конфликте с другой реальностью, а именно с католической церковью. Вы можете даже (как это сделали некоторые, отнюдь не ничтожные умы) перейти в область мистицизма и утверждать, что действительно личные силы, воли, высшие и внешние по отношению к человеку, демоны и ангелы, побудили Революцию против католической церкви и создали Республику как антикатолическую силу, способную встретиться и победить эту церковь, которая (по ее собственному определению) является не теорией, а выражением Личности и Воли. Выражаясь старомодно, можно сказать, что Революция была делом рук антихриста; но с таким ответом, повторяю, история не может иметь дела.

Если верно, что, несмотря на отсутствие противоречивых интеллектуальных теорий, между Революцией и католической церковью существует фундаментальное духовное противоречие, то время проверит это дело; в этом случае мы увидим вечное расширение ссоры, пока Революция не станет главным образом силой, направленной на уничтожение католицизма, а католическая церковь предстанет перед сторонником Революции не главным, а единственным врагом. Такого развития событий не происходило уже сто лет; только процесс времени, гораздо более длительный, позволит нам судить, является ли предполагаемая дуэль реальным делом или фантомом.

Второй тип ответа, ответ, который претендует на объяснение антагонизма определенным рядом событий, действительно касается историка.

Исходя из этого второго ответа, он может применить свою науку и использовать инструменты своей профессии; и он может показать (как я и предлагаю показать в дальнейшем), что, хотя между теорией революции и церковью нет никакой ссоры, на самом деле между действующей революцией и авторитетами католицизма возникла активная ссора; ссора, которая за сто лет не утихла, а обострилась.

За революционной ссорой скрывалось состояние Церкви во французском государстве с момента разрешения ссоры Реформации.

Что представляла собой эта ссора Реформации, читателю достаточно хорошо известно. В течение, грубо говоря, ста лет, с первых лет шестнадцатого века до первых лет семнадцатого (от юности Генриха VIII до юности Карла I в Англии), была предпринята великая попытка изменить (как сказала бы одна сторона, изменить, как сказала бы другая, денатурировать) *все тело* западного христианства. По всей европейской цивилизации шло *общее* движение нападения на унаследованную форму Церкви и общее сопротивление этому нападению; и каждый из антагонистов надеялся на всеобщий успех, один - того, что он называл "Реформацией религии", другой - того, что он называл "Божественным учреждением и видимым единством Католической Церкви".

В конце этого периода стало очевидно, что такого общего результата не было и не могло быть достигнуто. Вся та часть Запада, которая отвергла власть Римского Престола, стала

выглядеть как отдельный территориальный регион, навсегда отделенный от остальных; вся та часть Европы, которая сохранила власть Римского Престола, стала выглядеть как еще один территориальный регион. Линия раскола между ними начала определяться как географическая и почти соответствовала линии, которая за много веков до этого разделила римский и цивилизованный мир от варваров.

Провинция Британия имела исключительную судьбу. Несмотря на римское происхождение и древнюю цивилизацию в основе своей, она оказалась на неримской стороне новой границы; в то время как Ирландия, которую Римская империя никогда не организовывала и не наставляла, осталась, единственная из внешних частей Европы, в общении с Римом. Италия, Испания и, в основном, южная или романизированная Германия в конечном итоге отказались от своих традиций цивилизации и религии. Но в Галлии все было иначе, и для того, чтобы понять современные религиозные распри, необходимо изучить действия Галлии во время Реформации. Значительная часть французских землевладельцев и торговцев, то есть богатых людей страны, сочувствовала новым религиозным доктринам и новой социальной организации, которые укоренились в Англии, Шотландии, Голландии, Северной Германии и Скандинавии и которым суждено было привести к господству богатства в этих странах. Этих французских сквайров и торговцев называли гугенотами.

Последующие сто лет, с 1615 по 1715 год, были, скажем так, урегулированием, не без кровопролития, неудовлетворенной ссоры предыдущего столетия. Все англичане знают, что произошло в Англии; как были уничтожены последние остатки католицизма и в государстве утвердились все социальные и политические последствия протестантизма.

Даже в том же семнадцатом веке была предпринята отдельная, но тщетная попытка уничтожить католицизм в Ирландии. В Германии жесточайшая борьба привела лишь к аналогичному региональному результату. Первая треть этой сотни лет завершилась Вестфальским миром, и протестантское и католическое территориальное деление осталось таким, каким мы его знаем сейчас.

Во Франции, однако, сохранился своеобразный феномен - мощное по численности и (что гораздо важнее) по богатству и социальной власти, разбросанное по всей территории королевства, организованное и к тому времени настроенное резко антикатолически, а значит, антинационально.

Нация восстановила свою традиционную линию и настаивала на победе сильной исполнительной власти, причем власти католической. Таким образом, в этот период Франция стала абсолютной монархией, глава которой обладал огромными и непосредственными полномочиями, и монархией, вобравшей в себя все великие элементы национальной традиции, *включая церковь*.

Имя Людовика XIV, конечно, символизирует это великое время; его очень долгое правление точно соответствует ему. Он родился как раз во время той всеобщей борьбы за религиозное урегулирование в Европе, которую я описал как характерную для того времени; он умер как раз на ее завершающем этапе; и при нем казалось, что восстановленная власть Галлии и защита организованного католицизма должны быть синонимами.

Но в этом однородном теле, которым, по всей видимости, командовал Людовик XIV, было два элемента разрушения. Сам факт, что церковь стала во Франции незыблемым национальным институтом, охлаждал жизненно важный источник католицизма. Иерархия не только

пребывала в вечном подозрении по отношению к Римскому престолу и играла с концепцией национальной независимости, но они, как и вся официальная организация французского католицизма, ставили безопасность национального истеблишмента и его тесную связь с общей политической структурой государства гораздо выше святости католической догмы или практики католической морали.

Эта политическая структура - французская монархия - казалась гранитной и вечной. Если бы она действительно сохранилась, церковь в Галлии, несмотря на свою привязанность к такой мирской вещи, как корона, несомненно, пережила бы одно из тех воскрешений, которые никогда не подводили ее в прошлом, и вернулась бы, благодаря какой-то творческой реакции, к своему жизненному принципу. Но на данный момент следствием этого неподвижного политического установления было то, что скептицизм и все другие активные силы разума, которые играют на религии в любом католическом государстве, получили полную возможность. Церковь, так сказать, была озабочена не защитой себя, а лишь способом своего существования. Это было похоже на то, как если бы гарнизон, забыв о главной обороне местности, сосредоточил все свои усилия на охране одного объекта, где хранились запасы продовольствия.

Остроумие, хорошие стихи, искренний энтузиазм, доходчивое изложение того, что в человеческом разуме вечно восстает против трансцендентных утверждений, допускали любую вольность и не вызывали никакого действенного ответа. Но открытые акты неуважения к церковной власти карались со всей строгостью.

Если в богатых, чиновничьих и правящих кругах высмеивать Веру было само собой разумеющимся, то всерьез посягать на привилегии или положение ее служителей было неджентльменством и не допускалось. Иерархию не шокировало, что один из ее апостольских членов был остроумным атеистом; что другой отправился на охоту в день Corpus Christi, чуть не сбил в галопе Благословенное Таинство и забыл, в какой день это произошло. Епископы не находили ничего примечательного в том, что большая часть их тела была распушенной печенью, или в том, что некоторые из них открыто представляли своих друзей своим любовницам, как это могли бы делать все окружающие их светские дворяне. То, что епархия или любое другое духовное управление должно быть отделено от своего титулярного начальника, казалось им столь же естественным, как для нас отсутствие в современном полку какого-нибудь титулованного иностранного полковника. Епископы также не подвергали сомнению бедность, запущенность и необученность приходского духовенства; более того - и это, безусловно, главная особенность - отказ от религии всех миллионов французов, за исключением очень немногих, не больше затронул церковных чиновников того времени, чем голодная смерть наших бедняков, скажем, одного из наших профессиональных политиков. Это было просто само собой разумеющимся.

Читатель должен ухватиться за это немощное состояние религиозной жизни Франции накануне Революции, потому что оно одновременно и плохо осознается общей массой историков, и является единственным фактом, который досконально объясняет то, что за этим последовало. Обморок веры в XVIII веке - это негативный фундамент, на котором должен был подняться странный религиозный опыт французов. Франция в поколении, предшествовавшем Революции, переживала этап, когда католическая вера находилась на более низком уровне, чем когда-либо со времен ее проповеди и утверждения в Галлии.

Эта истина завуалирована не одним обстоятельством. Так, многие официальные акты, в частности браки и регистрация рождений, совершались в католической форме, и, более того, католические формы имели монополию на них. Опять же, государство носило

католические одежды: публичные пышные мероприятия были полны религиозных церемоний. Немногие представители среднего класса ходили на мессу в больших городах, почти никто из ремесленников; но церкви были "официальными". В распоряжении церкви находились огромные суммы денег - в том числе и официальных; а великие церковники были людьми, от которых можно было получить солидные милости. И снова историческая правда маскируется языком и точкой зрения великой католической реакции, которая произошла в наше время.

Можно с уверенностью сказать, что если до революции во Франции один взрослый человек из образованных слоев серьезно относился к католической вере и практике, то сегодня их пять. Но между ними лежит жестокий эпизод гонений, и католическая реакция в наше время постоянно стремится противопоставить предполагаемое дореволюционное "католическое" общество революционной ярости. "Посмотрите, - говорят ее поборники, - на то, как ужасно революция обошлась с Церковью". И когда они говорят это, обратная истина кажется очевидной, и они как бы намекают: "Подумайте, насколько все было иначе до того, как Революция преследовала Церковь!" Сама жестокость современной реакции на католицизм преувеличила революционные гонения, и при этом заставила людей забыть, что, помимо других свидетельств упадка религии, очевидно, что гонения никогда не могли возникнуть без сильной и постоянной исторической поддержки. Не было бы Диоклетиана в тринадцатом веке, если бы ему не предшествовал дух крестоносцев; не было бы Генриха VIII, если бы Англия пятнадцатого века, которая ему предшествовала, была Англией, преданной монашеской профессии. И не было бы революционной ярости против католической церкви во Франции, если бы предыдущее поколение хотя бы в значительной части было активно католическим.

На самом деле, конечно, это было не так: и в народном безразличии или ненависти к церкви главным фактором было строгое братство не столько церкви и государства, сколько церкви и исполнительного правительства.

Но был и другой фактор. Немного ранее мы рассказывали о том, как во Франции во время Реформации возникло богатое, влиятельное и многочисленное гугенотское сообщество. Численно оно уменьшилось, но на протяжении XVII века занимало очень высокое положение, как в плане привилегий, так и (что было характерно) денежной власти; и даже сегодня, хотя уровень рождаемости, конечно, ниже, чем в среднем по стране, число французских гугенотов приближается к миллиону, и в среднем они гораздо богаче, чем их сограждане. Именно их богатство доминирует в торговле некоторых районов, оказывает такое большое влияние на университеты, издательское дело и прессу, и вообще придает им такой вес в делах нации.

Гугеноты имели во Франции особую и постоянную вражду с монархией, а значит, и с католической церковью, которая, именно потому, что не была такой яркой и интенсивной, как в народных и универсальных религиях, была тем более тайно вездесущей. Его ссора заключалась в том, что, будучи в течение почти столетия высокопривилегированным членом "государства в государстве" и более поколения имея право проводить собрания, отдельные от национального правительства и часто враждебные ему, эти привилегии были внезапно отняты правительством Людовика XIV за столетие до Революции. Ссора была скорее политической, чем религиозной; это был своего рода "Home Rule". Ведь хотя гугеноты были рассеяны по всей Франции, они владели особыми городами и территориями, где их дух и, в некоторой степени, их частное самоуправление, образовывали *анклавы* партикуляризма внутри государства.

Они занимали это положение, как я уже говорил, на протяжении почти ста лет, и только после насильственного урегулирования религиозных проблем в Англии путем изгнания Якова II аналогичное урегулирование, менее насильственное, достигло (как считалось) аналогичного религиозного единства во Франции. Но это единство не было достигнуто. Гугеноты, хотя им больше не разрешалось существовать как государство в государстве, оставались в течение ста лет между отменой Нантского эдикта и началом Революции мощной и постоянно настороженной силой. Они стояли на фланге атаки интеллектуального скептицизма на католическую церковь, они были готовы воспользоваться первой политической победой этого скептицизма, и после революции они были самой мощной и, после масонов, с которыми они в значительной степени отождествляются, самой сильно организованной антиклерикальной силой в стране.

Евреи, чьи действия после Революции были столь заметны в этом же деле, не имели значительного влияния в период, непосредственно предшествовавший ей, и их элементом в коалиции можно пренебречь.

Таково было положение, когда готовилась революция. На памяти всех живущих людей церковь становилась все более и более официальной, массы больших городов полностью утратили с ней связь; Интеллигенция страны в основном была привлечена к деистской или даже чисто скептической пропаганде, мощное гугенотское тело было готово к союзу с любым врагом католицизма, а в глазах обедневшего городского населения - особенно в Париже, которая давно отказалась от религии, - человеческая организация Церкви, иерархия, священство и немногие, но очень богатые религиозные ордена, которые все еще продолжали существовать в уменьшающемся количестве, были лишь частью привилегированного мира, который народ ненавидел и был готов уничтожить.

Именно в таком духе и в таких условиях национальной религиозной жизни начинает действовать Революция. В Национальном собрании вы имеете великий корпус общин, определяющий все, лишь местами тронутый людьми, хоть как-то знакомыми с католической практикой или преданными ей, и эти люди по большей части индивидуальны и эксцентричны, то есть не католически, почти пропорционально искренности их религиозного чувства. Среди дворянства отправление религиозных обрядов было для некоторых социальной привычкой, а в качестве ментальной установки вера была забыта всеми, кроме очень немногих. Среди духовенства преобладала очень богатая иерархия, никто из которой не был готов защищать Церковь философскими аргументами и почти единодушно считал себя частью старой политической машины; в то время как представители низшего духовенства, сильно демократического по характеру, поначалу были больше заняты установлением демократии, чем предстоящим наступлением на материальную и мирскую организацию Церкви.

Эта материальная и мирская организация в самом начале дебатов предоставила возможность для атаки, которую не мог продемонстрировать ни один другой отдел старого режима.

Непосредственная опасность для государства заключалась в финансах. Предлогом и даже в некоторой степени мотивом для созыва Генеральных штатов была необходимость найти деньги. Старый фискальный механизм сломался, и, как всегда бывает, когда ломается фискальный механизм, трудности, которые он влечет за собой, и давление на людей, которое он влечет за собой, были всеобщими. *У исполнительной власти не было никакого непосредственного и легкодоступного фонда богатства, к которому она могла бы приложить руки, кроме богатства духовенства.*

Феодальные повинности дворян, если от них отказаться, должны были лечь скорее на крестьянство, чем на государство. Из существующих налогов лишь немногие могли быть увеличены без риска, и ни один не сулил больших дополнительных поступлений. Одни только долговые обязательства составляли половину всех поступлений государства, дефицит, пропорционально доходам, был непомерным. Напротив, вы имели учреждение, которое не пользовалось популярностью, общественные функции которого выполняла лишь небольшая часть населения, доходы которого распределялись крайне неравномерно, а феодальная собственность приносила в виде пошлин сумму, равную более чем четверти общего дохода государства. Добавьте к этому систему десятины, которая давала еще почти столько же, и станет ясно, какому финансовому искушению подвергалась Ассамблея.

Конечно, можно возразить, что право Церкви на церковную собственность, будь то земля или десятина, было абсолютным, и что конфискация той или иной формы дохода была простой кражей. Однако юридическая концепция на данный момент была иной. Богатство Церкви не даже (и это самое примечательное) защищалось как абсолютная собственность большинством тех, кто им пользовался. Тон дебатов, в ходе которых была подавлена десятина, а затем конфискованы церковные земли, был тоном обсуждения юридических моментов, прецедентов, общественной пользы и так далее. В нем не было слышно, в какой бы то ни было степени, утверждения простого морального права; хотя в то время моральные права собственности были одной из первых политических доктрин.

Однако не конфискация церковных земель и не отмена десятины стали основой ссоры между революцией и духовенством. Ни одно финансовое или экономическое изменение не является более чем подготовкой к моральным переменам или благоприятным условием для них. Они никогда не являются причиной моральных изменений. Даже подавление религиозных домов в начале 1790 года не должно рассматриваться как отправная точка в великой ссоре. Религиозные ордена во Франции в тот момент были слишком угасшими в своем рвении и численности, слишком богатыми и слишком удаленными от жизни нации, чтобы такое могло произойти. Истинная историческая точка отсчета, с которой мы должны датировать начало этого глубокого спора между Революцией и католицизмом, находится утром 30 мая 1790 года, когда парламентский комитет (Церковный комитет) представил палате свой план реформы конституции церкви в Галлии.

Огромность этого акта теперь очевидна всему миру. Предложение, по велению случайных представителей, не избранных *ad hoc*, изменить епархии и соборы католической Франции, решение эфемерного политического органа ограничить такими-то и такими-то узлами (а они были очень слабыми) связь между Церковью Франции и Святым Престолом, подавление соборных капитулов, кажущееся фарсом предложение о том, чтобы епископы избирались, а священники - тоже, подчинение иерархии в вопросах проживания и передвижения гражданским властям, которые открыто заявили о своем безразличии к вопросам религии, - все это вызывает недоумение у современного ума. Как, спрашивается, могли люди столь ученые, столь увлеченные, столь трудолюбивые и столь тесно соприкасающиеся со всеми реалиями своего времени, совершить ошибку такого масштаба? Более того, как эта ошибка избежала проклятия всеобщего осмеяния и немедленного бессилия? Ответ следует искать в том, о чем только что с такой настойчивостью говорилось: во временном затмении религии во Франции перед началом Революции.

Люди, разработавшие Конституцию духовенства, люди, голосовавшие за нее, и даже люди, выступавшие против нее, - все они имели на задворках своего сознания три концепции, которые они пытались примирить: из этих трех концепций одна была полностью ошибочной, одна - несовершенной, потому что поверхностной, и только третья была истинной. И эти три

концепции заключались в том, что, во-первых, католическая церковь - это немодное суеверие, во-вторых, что она обладает своей организацией и традицией силой, с которой следует считаться, и, в-третьих, что государство, его органы и их корпоративное наследование действий настолько связаны с католической церковью, что невозможно осуществить какое-либо общее политическое урегулирование, в котором это тело, как внешнее для Франции, так и внутреннее, должно быть проигнорировано.

Из этих трех концепций, если бы первая была столь же верна, как и последняя, она спасла бы Конституцию духовенства и репутацию здравого смысла тех, кто ее разработал.

Конечно, было верно, что католицизм на протяжении стольких веков был связан с государством, и поэтому парламент должен был что-то сделать с церковью в рамках общего урегулирования нации: он не мог просто оставить церковь в стороне.

То, что церковь была силой, с которой нужно было считаться в политическом плане, помимо традиционного союза церкви и государства, тоже было поверхностной правдой - но только поверхностной. Революционные политики опасались интриг тех, кто руководил организацией католической церкви, людей, которые, как они знали, в большинстве своем были безрелигиозны, а в искренности всех этих людей они, естественно, сомневались. Менее поверхностный и более основательный взгляд на дело обнаружил бы, что реальная опасность заключалась во враждебности или интригах против Гражданской конституции не коррумпированной иерархии, а искреннего, хотя и плохо обученного и сокращающегося меньшинства, которое все еще было преданно доктринам и дисциплине Церкви. Но даже это поверхностное суждение не было бы фатальным, если бы суждение Национального собрания не было фактически ошибочным по первому пункту - жизнеспособности веры.

Если бы католическая церковь была, как это представлялось тогда почти всем образованным людям, неживым суеверием, если бы фаза упадка, через которую она проходила, была фазой, сравнимой с теми, через которые другие религии проходили в свои последние моменты, если бы она поддерживалась древними семьями на основе простой традиции, поддерживалась отдаленными крестьянами на основе простого невежества и изоляции, была заброшена (как это было) в городах только потому, что в городах были лучшие возможности интеллектуального просвещения и приобретения элементарных знаний по истории и наукам; Одним словом, если бы воображаемая картина, которую эти люди нарисовали в своем воображении о католической церкви и ее судьбе, была точной, то гражданская конституция духовенства была бы государственным актом. Она позволила бы католической церкви медленно и без потрясений исчезнуть в тех районах, которые она еще сохраняла. Она предлагала поддерживать разумным жалованьем служителей ритуала, который, по всей видимости, утратил бы свою жизнеспособность еще до того, как умер бы последний из его пенсионеров; она, так сказать, подготовила бы ложе, на котором последний католик в Галлии мог бы мирно скончаться. Действия политиков при создании конституции казались бы более великодушными с каждым десятилетием, а их мудрость, заключавшаяся в том, чтобы не обидеть тех немногих, кто все еще оставался верным, вызывала бы все больше одобрения.

С другой стороны, с точки зрения государственного деятеля, гражданская конституция духовенства строго привязывала к государству и делала ответственными перед ним те древние, еще не умершие функции епископата и всего его аппарата. Мудрое и справедливое соображение Ассамблеи заключалось в том, что религии сохраняют свой механизм долгое время после смерти, и если этот механизм когда-либо был государственным, он должен оставаться под контролем государства: и не только до того момента, когда живая сила,

которая когда-то оживляла его , исчезнет, но и гораздо дольше; вплоть до того момента, когда уцелевшие институты мертвой религии разрушатся и погибнут.

Так рассуждали Национальное собрание и его комитет, и, повторяю, аргументы были справедливыми и государственными, благоразумными и полными предвидения, за исключением одного просчета. Католическая церковь не умерла и даже не умирала. Она проявляла многие из симптомов, которые в других организациях и институтах соответствуют приближению смерти, но Католическая церковь - это организм и институт, совершенно не похожий на другие. Она плодоносит и расширяется сразу же после прикосновения смертоносного оружия; в ее корнях заложено представление о том, что материальное процветание для нее удушающее, а бедность и несчастье питательное.

Люди из Национального собрания поступили бы более мудро, если бы внимательно изучили историю Ирландии (тогда еще малоизвестную) или хотя бы ознакомились с методами, с помощью которых католическая церковь в Британии, пройдя в пятнадцатом веке через стадию, несколько похожую на ту, под которой она тонула в Галлии в восемнадцатом, была задушена при Генрихе и Елизавете.

Но желание людей 1789 года заключалось не в том, чтобы убить Церковь, а в том, чтобы дать ей умереть; они считали, что она умирает. Их желание заключалось лишь в том, чтобы сделать эту смерть достойной и не причиняющей вреда нации, а также контролировать политические действия иерархии, которая была богата и связана со старым обществом, разрушающимся со всех сторон.

Гражданская конституция духовенства провалилась: она разожгла гражданскую войну, она вырыла яму, которая отделила католицизм от Революции в момент иностранного вторжения, она отделила лояльного священника таким образом, что его орден не мог не показаться населению орденом предателей, и она привела, в печи 1793 года, к великим гонениям, от воспоминаний о которых отношения между французской демократией и Церковью не оправились до сих пор.

Важно проследить реальные шаги этого провала; ведь когда мы осознаем, какими были даты, как мало времени оставалось для вынесения решения или пересмотра, и как немедленно катастрофа последовала за ошибкой, мы сможем понять, что за этим последовало, и не сможем понять это иначе.

Если мы обнаружим непрекращающуюся ссору между двумя семьями, причину которой мы не можем уловить и чья взаимная вражда кажется нам необоснованной, то, узнав, что она произошла от катаклизма, слишком быстрого и сильного, чтобы кто-то из них успел вынести решение, мы сможем оправдать или, по крайней мере, понять стойкость их вражды. Итак, это был катаклизм, обрушившийся на отношения Церкви и государства сразу после ошибки, совершенной парламентом; катаклизм, совершенно несоразмерный их намерениям, как и большинство внезапных катастроф, совершенно несоразмерных силам, которые их вызывают.

Как мы уже видели, летом 1790 года - 12 июля - Собрание утвердило Гражданскую конституцию духовенства. Но только 26 августа король дал согласие на ее подписание. В тот момент также не было предпринято никаких попыток привести закон в действие. Протесты епископов, например, прозвучали на досуге, в октябре, а активный принцип всей Гражданской конституции - представление Гражданской присяги, которую должно было принести духовенство, - даже не обсуждался до конца года.

Эта Гражданская присяга, которую иногда используют в качестве жупела в этом вопросе, была не более чем обязательством под санкцией клятвы, что епископ или священник, дающий ее, будет поддерживать новый *режим* - *хотя* этот *режим* включал в себя конституцию духовенства; присяга не предполагала прямого нарушения католической доктрины или практики. Навязывать ее было, конечно, глупо, и это была глупость, основанная на невежестве политиков (и многих епископов того времени) относительно природы католической церкви. Но клятва не была и не должна была быть мерой преследования. Многие приходские священники приняли ее, и большинство из них, вероятно, делали это из лучших побуждений: не дискредитировало клятву в глазах общественности и то, что от нее отказались все, кроме четырех действующих епископов, ведь состояние иерархии в предреволюционной Франции было общеизвестным. В глазах общественности действия епископов выглядели чисто политическими, а готовность принять присягу столь многими, хотя и меньшинством, представителями низшего духовенства убедительно свидетельствовала в его пользу.

Тем не менее, ни один католический священник, епископ или мирянин не мог принять эту клятву, не уличив себя в неверности своей религии; и это по той же причине, которая заставила святого Фому Кентерберийского выступить с любопытной и плодотворной позицией против разумных и неизбежных, а также против неразумных правительственных постановлений своего времени. Католическая церковь - институт по необходимости автономный. Она не может признать право какой-либо другой власти, не связанной с ее собственной организацией, навязывать ей изменение своей дисциплины или, прежде всего, новую концепцию ее иерархической организации.

Читатель должен тщательно различать между принятием Церковью деталей экономической реформы, согласием подавить корпорацию по требованию гражданской власти или даже отказаться от некоторых традиционных политических прав и признанием общего принципа гражданского контроля. Этого общего принципа Ассамблея, разрабатывая Конституцию духовенства, придерживалась вполне очевидно. Признать такую координацию внешней и гражданской власти, или, скорее, признать *превосходящую* внешнюю власть, значит в теории отрицать принцип католицизма, а на практике сделать из католической церкви то, чем стали другие государственные религии христианства.

Я уже говорил, что только в конце 1790 года начались дебаты по предложению обязать духовенство приносить присягу.

Это необычный комментарий ко всему делу, что принуждение вообще должно было стать предметом дебатов. По идее, это должно было следовать из закона. Но действия Собрания были настолько исключительными и, как они теперь начали понимать, настолько опасными, что потребовался специальный указ и подпись короля под ним, прежде чем это нормальное следствие меры, которая была законом в течение нескольких месяцев, могло быть реализовано.

Здесь читатель должен сделать паузу и подумать, с чем совпал этот момент - конец 1790 года.

Цессионарии, бумажные деньги, выпущенные под залог конфискованных церковных имений, уже обесценились на 10 процентов. Те, кто первыми их принял, платили всей Франции по пенни за ливр, или, как мы можем сказать, по фартингу за шиллинг, за то, что большинству из них, должно быть, казалось упрямством одной-единственной корпорации - и то непопулярной - против декретов Национального собрания.

Это был момент, когда определенная реакция против Революции только формировалась, и когда население только начинало тревожно подозревать о ней; это был момент, когда двор начал вести переговоры о бегстве; это был момент, когда (хотя население не знало об этом) Мирабо всеми силами советовал королю воспользоваться исполнением клятвы священников как возможностью для гражданской войны.

Весь воздух той зимы был пронизан сомнениями и тайнами: в сознании всех, кто с энтузиазмом следил за ходом Революции, короткие дни сурового холода 1790-91 годов содержали отрывки отчаяния, и очень короткого периода должно было хватить, чтобы клятва священников стала не только испытанием демократии против реакции, но и клином, который должен был расколоть нацию надвое.

В самом начале нового года, 4 января, епископов и священников в Собрании призвали принести присягу королю, нации и закону; но закон включал в себя Гражданскую конституцию духовенства, и они отказались. В течение трех месяцев Мирабо был мертв, бегство короля было предreshено, подозрения в Париже разгорелись до бела, присяга была принята или отвергнута всей Францией, а священники-раскольники введены в свои приходы - можно представить, с каким шумом и с какими деревенскими ссорами! В те же две недели появилось папское послание, долго откладываемое и известное как "Краткое послание *Каритас*", осуждающее гражданскую конституцию духовенства. Шесть недель спустя, в конце мая, папский представитель при французском дворе был отозван, и этим актом была объявлена религиозная война.

На протяжении всей этой ссоры, которая длилась уже ровно год, но острая фаза которой продолжалась всего шесть месяцев, каждый поступок любой из сторон неизбежно приводил к обострению конфликта. Не только не было возможности для примирения, но по самой природе вещей самый умеренный совет должен был становиться то на одну, то на другую сторону, и каждый публичный акт, так или иначе затрагивающий наболевшую тему, пусть косвенно и без желания действующих лиц разжечь страсти момента, немедленно оказывался провокацией с одной или другой стороны.

Это было неизбежно, учитывая население, отказавшееся от религии, привязанность клерикальной организации к организации старого *режима*, строгие узы дисциплины, объединявшие священство Церкви во Франции в единое целое, и, прежде всего, необходимость для Революции на данном этапе найти определенного и осязаемого врага.

Последнее обстоятельство имеет первостепенное значение. Общественное мнение было возбуждено и разгорячено, ведь король, как известно, был противником демократического движения; однако он подписал законопроекты и не мог подвергнуться открытому нападению. Королева была известна как ярая противница демократического движения, но она фактически не управляла страной. Известно, что правительства Европы были противниками; но до сих пор не появилось ни одной дипломатической ноты, из которой общественное мнение могло бы сделать объект для нападков.

Поэтому сопротивление, оказанное духовенством Гражданской конституции, имело именно тот эффект, который оказывает ядро при кристаллизации какого-либо раствора. Оно поляризовало энергию революции, дало определенную фольгу, определенный негатив, определенный контрапункт, определенный задник. Вопрос был прост. Люди, носящие специальную форму, выполняющие известные функции, играющие известную роль в обществе, то есть священники, теперь в большинстве своем были врагами готовящейся новой демократической конституции. Они не желали присягать на верность ей: повсюду они тайно восставали против нее, а там, где их лишали сана, - открыто. Таким образом,

духовенство, то есть духовенство, которое не присягает (а присягающее духовенство было экспериментом, который вскоре превратился в фикцию), стало после апреля 1791 года в глазах всех демократов того времени самой явной и осязаемой формой оппозиции демократии.

К тому, как я изложил проблему, можно добавить еще многое. Сам факт того, что демократическое движение возникло после периода безверия и было не католическим по своим истокам, должен был привести к ссоре. Так же как и необходимая привязанность католика к авторитету и легкая путаница между принципом авторитета и претензиями традиционной монархии. Опять же, элементы тщеславия, материальной жадности и ложной законченности, которые можно обнаружить в любой чисто демократической теории государства, всегда будут приводить эту теорию в некоторый конфликт с религией. Века, в течение которых трон и алтарь стояли как символы-близнецы, особенно во Франции, сама терминология религиозной метафоры, выработанная за века существования монархических институтов в Европе, способствовали возникновению великой ссоры. Но, повторяюсь, явным актом, без которого ссора никогда не смогла бы стать тем ужасно великим делом, которое она совершила, главной ошибкой, разрушившей единство революционного движения, была Гражданская конституция духовенства.

Таков первый год раскола, с мая 1790 по май 1791 года. Второй год - это лишь усиление процесса, наблюдавшегося в первый.

Он открывается бегством короля в июне 1791 года, то есть первым открытым актом вражды против власти Национального парламента с тех пор, как за два года до этого Национальный парламент объявил себя верховным. Уже тогда Двор в целом отождествлялся с сопротивлением духовенства, и конкретным примером этого стало мнение, что попытка короля отправиться в Сен-Клу в апреле была вызвана желанием причаститься у священника, не исповедующего юриспруденцию.^[8] Поэтому, когда король бежал, хотя его бегство не имело никакого отношения к клерикальной ссоре, оно ассоциировалось в сознании людей с клерикальной ссорой из-за его попытки покинуть Париж в апреле и из-за долгой связи двора с клерикальным сопротивлением. Вспышка антимонархических чувств, последовавшая за бегством, была в то же время вспышкой антиклерикальных чувств; но духовенство было повсюду и могло быть атаковано везде. Пилльницкая декларация, которую народ совершенно справедливо воспринял как начало вооруженного выступления Европы против французской демократии, была воспринята как угроза не только в пользу короля, но и в пользу мятежных церковников.

И так далее. Беспокойное приближение войны в течение осени и зимы 1791-92 годов, своеобразная трансформация французского темперамента, которую неизменно производит война или ее приближение - своего рода конструктивная экзальтация и творческая страсть - стали обращать значительную часть своей энергии или ярости против самих ортодоксальных священников.

Новый парламент, "Законодательный", как его называли, не просуществовал и двух месяцев, когда 29 ноября 1791 года принял указ о лишении священников, не исповедующих юриспруденцию, их жалованья. И здесь мы снова должны отметить любопытное несоответствие между законом и фактами во всей этой клерикальной ссоре! Более года государственные деньги выплачивались людям, которые, согласно закону, не должны были в течение всего этого года прикасаться к какому-либо жалованию! Однако, как и в случае с присягой, потребовались особые меры, и, кроме того, парламент добавил к этому

запоздалому и логичному следствию закона заявление о том, что те, кто не принял присягу в течение восьми дней после своего постановления, должны быть объявлены "подозреваемыми".

Слово "подозреваемым" очень важно. Парламент даже сейчас не мог действовать, по крайней мере, он не мог действовать без короля; и это слово "подозреваемый", которое не влекло за собой никаких существенных последствий, было тем, что могло скрывать угрозу вещей худших, чем обычное и законное наказание. Оно было похоже на клеймо, которое некая не уполномоченная и не законная власть ставит на дверях тех, кого эта власть выбрала для расправы в каком-то городе.

Три недели спустя Людовик наложил вето на декрет об отказе в выплате жалованья лицам, не являющимся присяжными, и 1791 год закончился, когда все дело оставалось в подвешенном состоянии, а отчаяние возрастало до безумия.

Первые три месяца 1792 года не принесли никаких изменений. Неприсяжные священники по-прежнему терпели незаконное положение исполнительной власти и, что еще более удивительно, по-прежнему получали государственные деньги и по большей части владели своими лекарствами; представление о том, что духовенство - главные или, во всяком случае, самые явные враги нового *режима*, теперь закрепилось в мнении, что попытка преследования религии, как называла ее одна партия, упрямый и антинациональный мятеж развратных священников, как называла его другая партия, быстро приближается к реальному преследованию и реальному мятежу.

С апреля 1792 года началась война и все страсти войны.

Известная враждебность короля к революции теперь превратилась в нечто гораздо худшее: в его известную симпатию к врагу, находящемуся под оружием. Принуждение короля к открытому выступлению стало отныне главной тактикой революционного корпуса.

Теперь для тех, чьей целью было принудить Людовика XVI к открытым заявлениям о враждебности нации, его религия была очевидным инструментом. Ни в одном вопросе нельзя было сблизиться с королем так тесно, как в этом церковном вопросе, где уже в декабре 1791 года он наложил свое вето.

Поэтому 27 мая 1792 года жирондисты Гваде и Верньо выступили за то, чтобы священник, отказавшийся принести присягу, был подвергнут высылке по требованию любых двадцати налогоплательщиков, входящих в собрание приходов, называемое "кантоном". Прошло почти ровно два года с тех пор, как Гражданская конституция духовенства была впервые представлена Палате Церковным комитетом Учредительного или Национального собрания.

Не следует забывать, при каких внешних условиях был востребован этот жестокий акт, первый настоящий акт преследования. Уже месяц как, 20 апреля, война открылась на бельгийской границе позорной паникой и убийством генерала Диллона; почти одновременно с этой катастрофой произошла соответствующая паника и бегство французских войск при продвижении к Монсу. Вся Европа говорила о легком марше на Париж, который теперь мог быть предпринят; и в целом этот декрет против священников был лишь частью той возмущенной политики, которая поднималась в ответ на ужас вторжения.

За ним, разумеется, последовал указ об увольнении королевской гвардии, а спустя неполную неделю - требование о создании лагеря добровольцев под стенами Парижа. Но это нас не касается. Король наложил вето на декрет против священников-неучителей, и в последующие два месяца ортодоксальное духовенство в сознании населения, особенно

парижского, было отождествлено с причиной восстановления старого *режима* и успеха вторгшихся иностранных армий.

С крахом 10 августа начались гонения: настоящие гонения, которые были для растущего ожесточения предыдущих двух лет тем же, чем удар является для начальных слов ссоры.

Декрет от 27 мая был введен в действие через одиннадцать дней после падения Тюильри. Правда, он не был введен в действие с той грубостью, которой требовал парламент: неисповедующим священникам давалось две недели, чтобы покинуть королевство, и если они не воспользовались этой отсрочкой, то должны были быть вывезены.

С этой даты и до конца Террора, двадцать три месяца спустя, история отношений между Революцией и Церковью, хотя и дикая и ужасная, проста: это история простого преследования, достигшего кульминации в крайних проявлениях жестокости и в предполагаемом искоренении христианства во Франции.

Ортодоксальное духовенство к этому времени повсеместно считалось типичным врагом революционного движения; само же оно рассматривало революционное движение как попытку уничтожить католическую церковь.

В течение семи месяцев после падения монархии, с 18 марта 1793 года, священники, будь то неюридические или раскольники, по доносу любых шести граждан могли быть подвергнуты высылке.

Сразу же последовало общее наступление на религию. Попытка закрыть все церкви, конечно, не удалась, но было твердо убеждено, что та привязанность, которая еще сохранилась к католической церкви, объясняется лишь невежеством провинциалов, которые ее демонстрировали, или корыстью тех, кто ее поддерживал. Попытка простой "дехристианизации", как ее называли, не удалась, но месяцы террора и жестокости, огромное количество мученических смертей (а их было не меньше), невероятные страдания и унижения, которым подвергались священники, пытавшиеся остаться в стране, как бы вгрызлись в самые волокна католической организации во Франции и остались, несмотря на политические теории того или иного толка и национальные симпатии священства, единственным большим активным воспоминанием, унаследованным от того времени.

И наоборот, образ священника, его привычки и характер, как фатального и необходимого противника революционной теории, настолько закрепился в сознании республиканца, что два поколения ничего не сделали для его устранения, и даже в наше время пожилые люди, несмотря на чистую теорию, не могут избавиться от воображаемой связи между католической церковью и международным заговором против демократии. Это нерациональное, но очень реальное чувство не находит поддержки в высказываниях тех, кто, выступая против политической теории Французской революции, постоянно цитирует католическую церковь как ее необходимого и святого антагониста.

Попытка "дехристианизации" Франции провалилась, как я уже говорил, полностью. Общественное богослужение было восстановлено, а конкордат Наполеона, как считалось, навсегда урегулировал отношения между церковью и государством. Мы дожили до того времени, когда он был расторгнут; но ни это поколение, ни, возможно, последующие не увидят результата борьбы между двумя телами мысли, которые разделены не процессом разума, а глубоким разрывом под действием ярких и трагических исторических воспоминаний.

ССЫЛКИ:

[8] Это мнение вошло в столь многие протестантские и не католические истории Революции, что его стоит еще раз подвергнуть критике в этой небольшой книге. Король был совершенно свободен принимать причастие в частном порядке из рук ортодоксальных священников, принимал его и причащался вполне в каноническое время. Церковных причин для попытки отъезда из Парижа в Сен-Клу в понедельник 18 апреля 1791 года было немного, кроме *обычая* (не религиозного долга) причащаться публично в само Пасхальное воскресенье; это был политический шаг.

Richard Clay & Sons, Limited, London and Bungay.
